

Юрий ЛОТМАН

✦
Комментарии к роману
«Евгений Онегин»

✦
Биография А. С. Пушкина



✦ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ✦

Всемирная литература (новое оформление)

Юрий Лотман

**Комментарии к роману
«Евгений Онегин».
Биография А. С. Пушкина**

«ЭКСМО»

1980, 1981

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

Лотман Ю. М.

Комментарии к роману «Евгений Онегин». Биография А. С. Пушкина / Ю. М. Лотман — «Эксмо», 1980, 1981 — (Всемирная литература (новое оформление))

ISBN 978-5-04-199411-2

Комментарии к роману «Евгений Онегин». Биография А. С. Пушкина
Советский и российский литературовед и критик Юрий Михайлович Лотман (1922–1993) неслучайно стал лауреатом академической премии им. А. С. Пушкина. Он всегда был внимателен к деталям и ловко подмечал скрытые между строк смыслы литературных шедевров. Раскрывая особенности романа в стихах «Евгений Онегин», он обращает внимание на мелочи, которые ускользают от современного читателя. Разъясняет архаичные слова и выделяет архетипы литературных героев, выстраивает хронологию событий и подмечает фольклорные мотивы. Его комментарии позволяют не просто посмотреть на произведение под иным углом, а дают возможность увидеть величие романа и его культурное значение. В книгу также входит биография Александра Пушкина. Сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-04-199411-2

© Лотман Ю. М., 1980, 1981
© Эксмо, 1980, 1981

Содержание

Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя	6
Введение	6
Глава первая	10
Глава вторая	22
Глава третья	34
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Юрий Лотман
Комментарии к роману «Евгений
Онегин». Биография А. С. Пушкина

© Tallinn University, 2024

© 2024, Университет Таллина, все права защищены.

© Фотография автора © 2024, Университет Таллина

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя

Введение

В редкую эпоху личная судьба человека была так тесно связана с историческими событиями – судьбами государств и народов, – как в годы жизни Пушкина. В 1831 г. в стихотворении, посвященном лицейской годовщине, Пушкин писал:

Давно ль друзья... но двадцать лет
Тому прошло; и что же вижу?
Того царя в живых уж нет;
Мы жгли Москву; был плен Парижу;
Угас в тюрьме Наполеон;
Воскресла греков древних слава;
С престола пал другой Бурбон (III, 879—80)¹.

Так дуновенья бурь земных
И нас нечаянно касались... (III, 277)

Ни в одном из этих событий ни Пушкин, ни его лицейские однокурсники не принимали личного участия, и тем не менее историческая жизнь тех лет в такой мере была частью их личной биографии, что Пушкин имел полное основание сказать: «Мы жгли Москву». «Мы» народное, «мы» лицеистов («Мы возмужали...» в том же стихотворении) и «я» Пушкина сливаются здесь в одно лицо участника и современника Исторической Жизни.

Через полгода после рождения Пушкина, 9 ноября 1799 г. (18 брюмера VIII года Республики), генерал Бонапарт, неожиданно вернувшись из Египта, произвел государственный переворот. Первый консул, пожизненный консул и, наконец, император Наполеон, он оставался во главе Франции до военного поражения и отречения в 1814 г. Затем, через несколько месяцев, он на 100 дней восстановил свою власть и в 1815 г., после разгрома под Ватерлоо, был сослан на остров Св. Елены. Годы эти были для Европы временем непрерывных сражений, в которые начиная с 1805 г. была втянута и Россия.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. на другом конце Европы, в Петербурге, также произошел государственный переворот: группа дворцовых заговорщиков и гвардейских офицеров ворвалась ночью в спальню Павла I и зверски его задушила. На престоле оказался старший сын Павла, двадцатичетырехлетний Александр I.

Молодежь начала XIX столетия привыкла к жизни на бивуаках, к походам и сражениям. Смерть сделалась привычной и связывалась не со старостью и болезнями, а с молодостью и мужеством. Раны вызывали не сожаление, а зависть. Позже, сообщая друзьям о начале греческого восстания, Пушкин писал про вождя его, А. Ипсиланти: «Отныне и мертвый или победитель принадлежит истории – 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! – завидная участь» (XIII, 24). Не только «цель великодушная» – борьба за свободу, – но и оторванная рука (Ипсиланти, генерал русской службы, потерял руку – ее оторвало ядром – в сражении

¹ Сочинения Пушкина здесь и далее по всему изданию цитируются по Полному собранию сочинений в 16 томах (Изд-во АН СССР, 1937–1949; Большое академическое издание). Римской цифрой обозначается том, арабской – страница; цитирование произведений, названных в тексте, не оговаривается. В квадратные скобки заключено зачеркнутое Пушкиным, а в ломаные – читаемое на основании реконструкции (конъектуры).

с Наполеоном под Лейпцигом в 1813 г.) может стать предметом зависти, если она вводит человека в Историю. Едва успевая побывать между военными кампаниями дома – в Петербурге, Москве, родительских поместьях, – молодые люди в перерыве между походами не спешили жениться и погружаться в светские удовольствия или семейственные заботы: они запирались в своих кабинетах, читали политические трактаты, размышляли над будущим Европы и России. Жаркие споры в дружеском кругу влекли их больше, чем балы и дамское общество. Грянула, по словам Пушкина, «гроза 1812 года». За несколько месяцев Отечественной войны русское общество созрело на десятилетия. 15 августа 1812 г. (еще Москва не была сдана!) умная, образованная, но, вообще-то говоря, ничем не выдающаяся светская дама М. А. Волкова писала своей подруге В. И. Ланской: «Посуди, до чего больно видеть, что злодеи в роде Балашова (министр полиции, доверенное лицо Александра I. – Ю. Л.) и Аракчеева продают такой прекрасный народ! Но уверяю тебя, что ежели сих последних ненавидят в Петербурге так же, как и в Москве, то им несдобровать впоследствии»².

Война закончилась победой России. Молодые корнеты, прапорщики, поручики,

Которые, пустясь в пятнадцать лет на волю,
Привыкли в трех войнах лишь к лагерю да к полю (VII,
246,367), —

вернулись домой израненными боевыми офицерами, сознававшими себя активными участниками Истории и не хотевшими согласиться с тем, что будущее Европы должно быть отдано в руки собравшихся в Вене монархов, а России – в жесткие капральские руки Аракчеева.

Невозможность вернуться после Отечественной войны 1812 г. к старым порядкам широко ощущалась в обществе, пережившем национальный подъем. Острый наблюдатель, лифляндский дворянин Т. фон Бок писал в меморандуме, поданном Александру I: «Народ, освещенный заревом Москвы, – это уже не тот народ, которого курляндский конюх Бирон таскал за волосы в течение десяти лет»³. Характерен замысел трагедии «1812 год», который позже обдумывал Грибоедов: основным героем пьесы должен был стать крепостной М. (имени Грибоедов не определил), герой партизанской войны, который после победы должен «вернуться под палку господина». Наброски трагедии Грибоедов завершил выразительной репликой: «Прежнее мерзости». М. кончал самоубийством. Стремление не допустить возвращения к «прежним мерзостям» «века минувшего» (выражение Чацкого) было психологической пружиной, заставлявшей вернувшихся с войны молодых офицеров, рискуя всем своим будущим, отказываясь от радостей, которые сулила полная сил молодость и блестяще начатая карьера, вступать на путь политической борьбы. Связь между 1812 г. и освободительной деятельностью подчеркивали многие декабристы. М. Бестужев-Рюмин, выступая на конспиративном заседании, говорил: «Век славы военной кончился с Наполеоном. Теперь настало время освобождения народов от угнетающего их рабства, и неужели Русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне истинно Отечественной, – Русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма?»⁴

В 1815 г. в России возникли первые тайные революционные общества. 9 февраля 1816 г. несколько гвардейских офицеров в возрасте двадцати – двадцати пяти лет – все участники Отечественной войны – учредили Союз спасения, открыв тем самым новую страницу в исто-

² Каллаш В. В. Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников. М., 1912. С. 253–254.

³ Предтеченский А. В. Записка Т. Е. Бока // Декабристы и их время. М.; Л., 1951. С. 193; подлинник по-французски, перевод публикатора. За свою записку Бок поплатился долгими годами крепости, позже покончил с собой в Вильянди.

⁴ Восстание декабристов. М., 1950. Т. 9. С. 117.

рии России. Победителям Наполеона свобода казалась близкой, а борьба и гибель за нее – завидными и праздничными. Даже суровый Пестель, к тому же находясь в каземате крепости и обращаясь не к единомышленникам, а к судьям и палачам, вновь переживал упоение свободой, вспоминая эти минуты: «Я сделался в душе республиканец и ни в чем не видел большего Благodenствия и высшего Блаженства для России, как в республиканском правлении. Когда с прочими членами, разделяющими мой образ мыслей, рассуждал я о сем предмете, то, представляя себе живую картину всего счастья, коим бы Россия, по нашим понятиям, тогда пользовалась, входили мы в такое восхищение и, сказать можно, восторг, что я и прочие готовы были не только согласиться, но и предложить все то, что содействовать бы могло к полному введению и совершенному укреплению и утверждению сего порядка вещей»⁵.

Число членов тайного общества быстро росло, и в 1818 г. оно было реорганизовано в Союз благоденствия – конспиративную организацию, рассчитывавшую путем влияния на общественное мнение, давления на правительство, проникновения на государственные посты, воспитания молодого поколения в духе патриотизма, свободолюбия, личной независимости и ненависти к деспотизму подготовить Россию к коренному общественному преобразованию, которое предполагалось провести через десять – пятнадцать лет. Влияние Союза благоденствия было широким и плодотворным: в безгласной России, где любое дело считалось входящим в компетенцию правительства, а все входящее в компетенцию правительства считалось тайным, члены Союза благоденствия явочным порядком вводили гласность. На балах и в общественных собраниях они открыто обсуждали правительственные действия, выводили из мрака случаи злоупотребления властью, лишая деспотизм и бюрократию их основного оружия – тайны. Декабристы создали в русском обществе не существовавшее дотоле понятие – общественное мнение. Именно оно обусловило то – новое в России – положение, о котором Грибоедов устами Чацкого сказал:

...нынче смех страшит, и держит стыд в узде.

Однако широкий размах деятельности и установка на гласность имели и слабые стороны: Союз благоденствия разбухал за счет случайных попутчиков, конспирация свелась почти на нет. К 1821 г. правительство имело уже в руках ряд доносов, дававших обширную информацию о тайном обществе. Сведения эти тем более встревожили императора, что утвердившийся после падения Наполеона реакционный порядок Священного союза европейских монархов трещал и рушился: волнения в немецких университетах, революция в Неаполе, греческое восстание, волнения в Семеновском полку в Петербурге, бунт в военных поселениях в Чугуеве под Харьковом – все это настраивало русское правительство на панический лад. Начались репрессии: были разгромлены Казанский и Петербургский университеты (после инквизиторского следствия были уволены лучшие профессора, преподавание ряда наук вообще запрещено; университеты стали напоминать смесь казармы и монастыря), усилились цензурные гонения, из Петербурга были высланы Пушкин и – несколько позже – поэт и декабрист полковник П. А. Катенин.

Собравшийся в этих условиях в 1821 г. в Москве нелегальный съезд Союза благоденствия, узнав о том, что правительство имеет полные списки заговорщиков, объявил тайное общество ликвидированным. Но то был лишь тактический шаг: на самом деле вслед за первым решением последовало второе, которое восстанавливало Союз, но на более узкой и более конспиративной основе. Однако восстановление происходило негладко: тайное общество раскололось географически – на Юг и Север, политически – на умеренных, покидавших его ряды, и решительных, в основном молодежь, сменявшую лидеров первого этапа декабризма. В обста-

⁵ Восстание декабристов. М.; Л., 1927. Т. 4. С. 91.

новке организационного развала приходилось бороться с настроениями пессимизма и вырабатывать новую тактику. Правительство, казалось, могло торжествовать победу. Однако, как всегда, победы реакции оказались мнимыми: загнанное вглубь, общественное недовольство лишь крепче пустило корни, и к 1824 г. и Южное, и Северное общества декабристов вступили в период новой политической активности и непосредственно подошли к подготовке военной революции в России.

19 ноября 1825 г. в Таганроге неожиданно скончался Александр I. Декабристы давно уже решили приурочить начало «действия» к смерти царя. 14 декабря 1825 г. в Петербурге на Сенатской площади была сделана первая в России попытка революции. Картечные выстрелы в упор, разогнавшие мятежное каре, возвестили неудачу восстания и начало нового царствования и новой эпохи русской жизни.

Николай I начал свое правление как ловкий следователь и безжалостный палач: пятеро руководителей движения декабристов были повешены, сто двадцать – сосланы в Сибирь в каторжные работы. Новое царствование началось под знаком политического террора: Россия была отдана в руки политической тайной полиции: учрежденная машина сыска и подавления – III отделение канцелярии императора и жандармский корпус – представляли как бы глазок в камере, через который царь наблюдал за заключенной Россией. Место грубого и малограмотного Аракчеева заняли более цивилизованные, более образованные, более светские Бенкендорф и его помощник Дубельт. Аракчеев опирался на палку, правил окриком и зуботычиной – Бенкендорф создал армию шпионов, ввел донос в быт. Если декабристы стремились поднять общественную нравственность, то Бенкендорф и Николай I сознательно развращали общество, убивали в нем стыд, преследовали личную независимость и независимость мнений как политическое преступление.

Однако остановить течение жизни невозможно. Николай I видел свою – как он считал, божественную – миссию в том, чтобы «подморозить» Россию и остановить развитие духа свободы во всей Европе. Он стремился подменить жизнь циркулярами, а государственных людей – безликими карьеристами, которые бы помогали ему, обманывая самого себя, создавать декорацию мощной и процветающей России. Историческое отрезвление, как известно, было горьким.

Но в обществе зрели здоровые силы. Вся мощь национальной жизни сосредоточилась в это время в литературе.

Такова была эпоха Пушкина.

Глава первая

Годы юности

Пушкин родился 26 мая 1799 г.⁶ в Москве в доме Скворцова на Немецкой улице в семье отставного майора, чиновника Московского комиссариата Сергея Львовича Пушкина и жены его Надежды Осиповны (урожденной Ганнибал). Кроме него, в семье были старшая сестра Ольга и три младших брата. Пушкины были родовиты. В автобиографических заметках Пушкин писал: «Мы ведем род свой от прусского выходца *Радиши* или *Рачи* (*мужа честна*⁷, как говорит летописец, т. е. знатного, благородного), выехавшего в Россию во времена княжества св. Александра Ярославича Невского. От него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы, Шереметевы и Товарковы» (ХП, 311). Родство со многими фамилиями коренного русского барства делало Пушкиных тесно связанными с миром и бытом той, «допожарной» (т. е. до пожара 1812 г.), Москвы, в которой говорили: «Родство люби счесть и воздай ему честь» и «Кто своего родства не уважает, тот себя самого унижает, а кто родных своих стыдится, тот чрез это сам срамится».

«Родословная матери моей еще любопытнее, – продолжал Пушкин. – Дед ее был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он аманатом (заложником. – Ю. Л.), и отослал его Петру Первому..» (ХП, 311–312)⁸. К концу XVIII в. Ганнибалы уже тесно переплелись кровными связями с русскими дворянскими родами – породнились с Ржевскими, Бутурлиными, Черкасскими, Пушкиными. Отец и мать поэта были родственники (троюродные брат и сестра).

Пушкины были весьма небогаты. Беспозайственные и недовитые, они всю жизнь находились на грани разорения, в дальнейшем неизменно урезали материальную помощь сыну, а в последние годы его жизни и обременяли поэта своими долгами. У Сергея Львовича Пушкина барская безалаберность сочеталась с болезненной скупостью. Друг А. С. Пушкина П. А. Вяземский сохранил в своих записках сценку: «Вообще был он очень скуп и на себя, и на всех домашних. Сын его Лев, за обедом у него, разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал. “Можно ли (сказал Лев) так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?” – “Извините, сударь (с чувством возразил отец), не двадцать, а тридцать пять копеек”»⁹.

Семья принадлежала к образованной части московского общества. Дядя Пушкина Василий Львович Пушкин был известным поэтом, в доме бывали московские литераторы. Еще ребенком Пушкин увидел Карамзина, тогдашнего главу молодой русской литературы, слушал разговоры на литературные темы.

Воспитание детей, которому родители не придавали большого значения, было беспорядочным. Из домашнего обучения Пушкин вынес лишь прекрасное знание французского языка, а в отцовской библиотеке пристрастился к чтению (тоже на французском языке).

Наиболее разительной чертой пушкинского детства следует признать то, как мало и редко он вспоминал эти годы в дальнейшем. В жизни дворянского ребенка Дом – это целый мир, полный интимной прелести, преданий, сокровенных воспоминаний, нити от которых тянулись на

⁶ Все даты даются по старому стилю.

⁷ Здесь и далее по всему изданию курсив, принадлежащий автору цитируемого произведения, специально не оговаривается.

⁸ Предок Пушкина был не негр, а арап, т. е. эфиоп, абиссинец. Появление его при дворе Петра I, возможно, связано с более глубокими причинами, чем распространившаяся в Европе начала XVIII в. мода на пажей-арапчат: в планах сокращения Турецкой империи, которые вынашивал Петр I, связи с Абиссинией – христианской страной, расположенной в стратегически важном районе, в тылу беспокойного египетского фланга Турции, – занимали определенное место. Однако затяжная Северная война не дала развиваться этим планам.

⁹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 154.

всю дальнейшую жизнь. В воспоминаниях С. Т. Аксакова повествуется, как разлука с родителями и родным домом – его привезли из поместья родителей в казанскую гимназию – обернулась для ребенка недетской трагедией: жизнь вне дома казалась ему решительно невозможной. Детство Л. Н. Толстого не было идиллично (разлад между родителями, долги и легкомыслие отца, его странная смерть), и, однако, глубоко прочувствованные строки посвятил он в повести «Детство» миру первых воспоминаний, родному дому, матери. Детство Лермонтова было изуродовано тяжелой семейной трагедией, он вырос, не зная подлинной семьи, в обстановке вражды между ближайшими родственниками. И все же он пронес через всю жизнь поэзию детства и родного Дома:

Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки...
<...>
И вижу я себя ребенком: и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей...¹⁰

Образ же Отца – опозитизированный и трагический, вопреки реальным биографическим фактам, – вошел в романтический мир Лермонтова.

Пушкин легко покинул стены родного дома и ни разу в стихах не упомянул ни матери, ни отца. Упоминания же дяди Василия Львовича скоро стали откровенно ироническими. И при этом он не был лишен родственных чувств: брата и сестру он нежно любил всю жизнь, самоотверженно им помогая, сам находясь в стесненных материальных обстоятельствах, неизменно платил безо всякого ропота немалые долги брата Левушки, которые тот делал по-отцовски беспечно и бессовестно переваливал на Пушкина. Да и к родителям он проявлял больше внимания, чем они к нему. Тем более бросается в глаза, что, когда в дальнейшем Пушкин хотел оглянуться на начало своей жизни, он неизменно вспоминал только Лицей – детство он вычеркнул из своей жизни¹¹. Он был человек без детства.

А когда внутреннее развитие подвело Пушкина к идее Дома, поэзии своего угла, то это оказался совсем не тот дом (или не те дома), в которых он проводил дни детства. Домом с большой буквы стал дом в Михайловском, дом предков, с которым поэт лично был связан юношескими воспоминаниями 1817 г. и годами ссылки, а не памятью детства. И под окном этого дома сидела не мать поэта, а его крепостная «мама» Арина Родионовна.

Детство, однако, слишком важный этап в самосознании человека, чтобы его можно было бы вычеркнуть, ничем не заменив. Заменой мира детства, мира, к которому человек, как правило, обращается всю жизнь как к источнику дорогих воспоминаний, мира, в котором он узнает, что доброта, сочувствие и понимание – норма, а зло и одиночество – уродливое от нее отклонение, для Пушкина стал Лицей. Представление о Лицее как о родном доме, о лицейских зрителях как старших, а о лицеистах как товарищах, братьях окончательно оформилось в сознании поэта в середине 1820-х гг., когда реальные лицейские воспоминания уже слились в

¹⁰ Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1954. Т. 2. С. 136.

¹¹ Это особенно заметно в тех редких случаях, когда литературная традиция заставляла его вводить в поэзию тему детства. Так, в лицейское «Послание к Юдину» Пушкин вводит черты реального пейзажа села Захарова, с которым были связаны его детские воспоминания. Однако образ автора, который мечтает над Горацием и Лафонтеном, с лопатой в руках возделывает свой сад, в собственном доме за мирной сельской трапезой с бокалом в руках принимает соседей, конечно, насквозь условен и ничего личного не несет: Пушкин бывал в Захарове с 1806 по 1810 г., т. е. между семью и одиннадцатью годами, и поведение его, конечно, не имело ничего общего с этой литературной позой. Редким случаем реальных отзвуков детских впечатлений является стихотворение «Сон» (1816). Но характерно, что здесь упоминается не мать, а нянька («Ах! умолчу ль о мамушке моей...»).

картину сравнительно далекого прошлого, а гонения, ссылки, клевета, преследовавшие поэта, заставили его искать опору в идиллических воспоминаниях. В 1825 г. он писал:

Друзья мои, прекрасен наш союз!..
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село (II, 425).

Но сложившийся в эти годы в сознании Пушкина идеализированный образ Лицея во многом отличался от документальной реальности.

Лицей был учебным заведением, повторившим в миниатюре судьбу и характер многих реформ и начинаний «дней alexсндровых прекрасного начала»: блестящие обещания, широкие замыслы при полной непродуманности общих задач, целей и плана. Размещению и внешнему распорядку нового учебного заведения уделялось много внимания, вопросы формы лицейстов обсуждались самим императором. Однако план преподавания был не продуман, состав профессоров — случаен, большинство из них не отвечало по своей подготовке и педагогическому опыту даже требованиям хорошей гимназии. А Лицей давал выпускникам права окончивших высшее учебное заведение. Не было ясно определено и будущее лицейстов. По первоначальному плану, в Лицее должны были воспитываться также младшие братья Александра I — Николай и Михаил. Мысль эта, вероятно, принадлежала Сперанскому, которому, как и многим передовым людям тех лет, внушало тревогу то, как складывались характеры великих князей, от которых в будущем могла зависеть участь миллионов людей. Подрастающие Николай и Михаил Павловичи свыклись с верой в безграничность и божественное происхождение своей власти и с глубоким убеждением в том, что искусство управления состоит в «фельдфебельской науке». В 1816 г. человек, далекий от либеральных идей, но честный вояка и патриот, генерал П. П. Коновницын, которому Александр I поручил в 1815 г. наблюдение за своими братьями во время их пребывания в армии, видимо, не случайно счел необходимым дать великим князьям письменное наставление: «Если придет время командовать Вам частями войск <...> старайтесь улучшать положение каждого, не требуйте от людей невозможного. Доставьте им прежде нужный и необходимый покой, а потом уж требуйте точного и строго исполнения истинной службы. Крик и угрозы только что раздражают, а пользы Вам не принесут».

В Лицее великие князья должны были воспитываться в кругу сверстников, в изоляции от двора. Здесь им были бы внушены представления, более соответствующие их будущему положению, чем «крики, угрозы» и требование «от людей невозможного», склонности к чему они начали проявлять очень рано. Если бы этот план осуществился, Пушкин и Николай I оказались бы школьными товарищами (Николай Павлович был всего на три года старше Пушкина). Соответственно этому же плану, остальные лицейсты предназначались к высокой государственной карьере.

Замыслы эти, видимо, вызвали противодействие имп. Марии Федоровны. Общее наступление реакции перед войной 1812 г., выразившееся, в частности, в падении Сперанского, привело к тому, что первоначальные планы были отброшены, в результате чего Николай I вступил в 1825 г. на престол чудовищно неподготовленным. По свидетельству осведомленного мемуариста В. А. Муханова, «что же касается до наук политических, о них и не

упоминалось при воспитании императора. <...> Когда решено было, что он будет царствовать, государь сам устранился своего неведения...»¹².

Для Лицея в изменении его статуса была и выгодная сторона: хотя ослабление интереса двора к этому учебному заведению влекло за собой понижение его престижа, а будущее лицейстов перестало рисоваться в первоначальном заманчивом виде, зато вмешательство придворных кругов в жизнь Лицея стало менее заметным.

Лицей помещался в Царском Селе – летней императорской резиденции, во флигеле Екатерининского дворца. Уже само местоположение делало его как бы придворным учебным заведением. Однако, видимо, не без воздействия Сперанского, ненавидевшего придворные круги и стремившегося максимально ограничить их политическую роль в государстве и влияние на императора, первый директор Лицея В. Ф. Малиновский пытался оградить свое учебное заведение от влияния двора путем строгой замкнутости: Лицей изолировали от окружающей жизни, воспитанников выпускали за пределы его стен крайне неохотно и лишь в особых случаях, посещения родственников ограничивались. Лицейская изоляция вызвала в поэзии Пушкина тех лет образы монастыря, иноческой жизни, искушений, которым подвергается монах со стороны беса. С этим же связано и стремление вырваться из заточения. Поэтическое любовное лицейскими годами, как было сказано выше, пришло позднее – во время же пребывания в Лицее господствующим настроением Пушкина было ожидание его окончания. Если в стихах Лицей преобразуется в монастырь, где молодой послушник говорит про себя:

Сквозь слез смотрю в решетки,
Перебирая четки, —

то окончание его рисуется как освобождение из заточения:

Но время протечет,
И с каменных ворот
Падут, падут затворы,
И в пышный Петроград
Через долины, горы
Ретивые примчат;
Спеша на новоселье,
Оставлю темну келью,
Поля, сады свои;
Под стол клобук с веригой
И прилечу расстригой
В объятия твои (I, 43).

Конечно, лекции лицейских преподавателей, среди которых были прогрессивные и хорошо подготовленные профессора (например, А. П. Куницын, А. И. Галич), не прошли для Пушкина бесследно, хотя он и не числился среди примерных учеников.

Программа занятий в Лицее была обширной. Первые три года посвящались изучению языков: «русского, латинского, французского, немецкого», – математики (в объеме гимназии), словесности и риторики, истории, географии, танцам, фехтованию, верховой езде и плаванию. На старших курсах занятия велись без строгой программы – утвержденный устав определял лишь науки, подлежащие изучению: предусматривались занятия по разделам нравственных, физических, математических, исторических наук, словесности и по языкам. Разуме-

¹² Русский архив. 1897. № 5. С. 89–90.

ется, обширный план при неопределенности программ и требований, неопытности педагогов приводил к поверхностным знаниям учащихся. Пушкин имел основания жаловаться в письме брату в ноябре 1824 г. на «недостатки проклятого своего воспитания» (XIII, 121). Однако в лицейских занятиях была и бесспорная положительная сторона: это был тот «лицейский дух», который на всю жизнь запомнился лицеистам первого – «пушкинского» – выпуска и который очень скоро сделался темой многочисленных доносов. Именно этот «дух» позже старательно выбивал из Лицея Николай I.

Немногочисленность учащихся, молодость ряда профессоров, гуманный характер их педагогических идей, ориентированный – по крайней мере, у лучшей части их – на внимание и уважение к личности учеников, то, что в Лицее, в отличие от других учебных заведений, не было телесных наказаний и среди лицеистов поощрялся дух чести и товарищества, наконец, то, что это был первый выпуск – предмет любви и внимания, – все это создавало особую атмосферу. Ряд профессоров не был чужд либеральных идей и в дальнейшем сделался жертвой гонений (Куницын, Галич). Лекции их оказывали благотворное воздействие на слушателей. Так, хотя Пушкин имел весьма невысокие оценки по предметам Куницына, тот факт, что одна из глав его не дошедшего до нас романа «Фатам, или Разум человеческий» называлась «Право естественное», говорит сам за себя: Куницын читал лицеистам «Естественное право» – дисциплину, посвященную изучению «природных» прав отдельной человеческой личности. Само преподавание такого предмета было данью либеральным веяниям, и в дальнейшем он был из программ русских университетов изгнан. Преподаватели, подобные Куницыну, и директор Малиновский действовали, однако, главным образом не лекциями (Куницын не обладал даром увлекательной речи), а собственным человеческим примером, показывая образцы гордой независимости и «спартанской строгости» личного поведения. Дух независимости, уважения к собственному достоинству культивировался и среди лицеистов. Кроме передовых идей, они усваивали определенный тип поведения: отвращение к холопству и раболепному чиновничеству, независимость суждений и поступков. Журналист сомнительной репутации Фаддей Булгарин в доносительной записке «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного», поданной в 1826 г. Николаю I, писал: «В свете называется лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надо показаться любителем равенства»¹³.

Если отвлечься от злобно-доносительного тона, с одной стороны, и, с другой – учесть, что Булгарин не мог знать «лицейского духа» 1810-х гг. по личному опыту, а реконструировал его на основании своего впечатления от поведения Дельвига, Пушкина и других лицеистов в послелицейский период, дополняя картину чертами из стиля поведения «арзамасцев» и «либералистов» братьев Тургеневых, то перед нами окажется яркая характеристика того, как держался в обществе молодой «прогрессист» конца 1810-х – начала 1820-х гг. Что касается утверждения о презрительном отношении к низшим, то речь идет о презрении свободолюбца к раболепному чиновнику, Чацкого к Молчалину. Этот, основанный на высоком уважении к себе, взгляд свысока Молчалины и Поприщины (герой повести Гоголя «Записки сумасшедшего») не прощали Чацким и Печориным, как Булгарин не мог простить его лицеистам Пушкину и Дельвигу. Булгарин интуицией доносчика угадал связь между «благородным обхождением», к которому воспитатели приучали лицеистов, и оскорбительной для «холопьев добровольных» (Пушкин) свободой поведения молодого либерала.

Основное, чем был отмечен Лицей в жизни Пушкина, заключалось в том, что здесь он почувствовал себя Поэтом. В 1830 г. Пушкин писал: «...начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени» (XI, 157).

¹³ Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. 3-е изд. Л., 1925. С. 36.

В те дни — во мгле дубровных сводов
Близ вод, текущих в тишине,
В углах Лицейских переходов,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья,
Доселе чуждая веселья,
Вдруг озарилась — Муза в ней
Открыла пир своих затей;
Простите, хладные науки!
Простите, игры первых лет!
Я изменился, я поэт... (VI, 620)

В Лицее процветал культ дружбы. Однако в реальности лицеисты – и это вполне естественно – распадались на группы, отношения между которыми порой были весьма конфликтными. Пушкин примыкал к нескольким, но не был безоговорочно принят ни в одну. Так, в Лицее ощущалась сильная тяга к литературным занятиям, которая поощрялась всем стилем преподавания. Выходили рукописные журналы: «Лицейский мудрец», «Неопытное перо», «Для удовольствия и пользы» и др. Поэтическим лидером Лицея, по крайней мере в первые годы, был Илличевский. Можно предположить, что Пушкин ревниво боролся за признание своего поэтического первенства в лицейском кругу. Однако Б. В. Томашевский показал, что определенных и очень важных для Пушкина сторон его юной поэзии (например, ориентацию на эпическую традицию и крупные жанры) суд однокурсников не принимал и полного единомыслия между молодым Пушкиным и «литературным мнением» Лицея не было¹⁴.

Наиболее тесными были дружеские связи Пушкина с Дельвигом, Пуциным, Малиновским и Кюхельбекером. Это была дружба на всю жизнь, оставившая глубокий след в душе Пушкина. Но и здесь не все было просто. Политические интересы лицеистов зрели, у них складывались сознательные свободолюбивые убеждения. Потянулись нити из Лицея к возникшему движению декабристов: Пуцин, Дельвиг, Кюхельбекер и Вольховский вошли в «Священную артель» Александра Муравьева и Ивана Бурцева. Пушкин приглашения участвовать не получил. Более того, друзья скрыли от него свое участие.

В дальнейшем, когда Пушкин смотрел на лицейские годы с высоты прожитых лет, все сглаживалось. Потребность в дружбе «исправляла» память. Именно после разлуки, когда Лицей был за спиной, воспоминания оказались цементом, который с годами все крепче связывал «лицейский круг». Братство не слабело, а укреплялось. Это видно на одном примере. 9 июня 1817 г. на выпускном акте Лицея был исполнен прощальный гимн Дельвига:

Простимся, братья! Руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас!
Друг на друге остановите
Вы взор с прощальной слезой!
Храните, о друзья, храните
Ту ж дружбу, с тою же душой,
То ж к славе сильное стремленье,
То ж правде – да, неправде – нет,

¹⁴ Томашевский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 40–41.

В несчастье – гордое терпенье,
И в счастье – всем равно привет!¹⁵

Лицейсты первого выпуска, конечно, запомнили все стихотворение наизусть, и каждая строка из него звучала для них как пароль. Пушкин в дальнейшем несколько раз пользовался этим стихотворением Дельвига именно как паролем, позволяющим несколькими словами восстановить в сознании лицейских друзей атмосферу их юности. В стихотворении «19 октября» (1825), посвященном лицейской годовщине, Пушкин, обращаясь к моряку-лицейсту Ф. Ф. Матюшкину, находившемуся в кругосветном путешествии, писал:

Ты простирали из-за моря нам руку,
Ты нас одних в молодой душе носил
И повторял: «На долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!» (II, 425)

Строки:

Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас! —

слегка перефразированы Пушкиным, но лицейсты, конечно, их узнавали. Еще более значим другой пример: известные строки из послания «В Сибирь»:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье (III, 49) —

были понятной отсылкой к тому же гимну Дельвига:

В несчастье – гордое терпенье.

То, что у Дельвига представляло дань общим местам элегического стиля, заполнялось у Пушкина реальным содержанием. Переезд из Царского Села в Петербург, где большинство лицейстов должно было вступить в службу – гражданскую или военную, – элегическая «вечная разлука»; кругосветное путешествие – реальная «долгая разлука»; «в несчастье – гордое терпенье» – поэтическое общее место. «Гордое терпенье» «во глубине сибирских руд» звучало совершенно иначе. У этих поэтических цитат было и скрытое значение. Читатели, получившие в руки томик альманаха «Северные цветы на 1827 год», где было напечатано стихотворение «19 октября», не могли знать, чьи слова вложил Пушкин в уста своему другу-моряку, – это было понятно лишь лицейстам. Не публиковавшееся при жизни послание «В Сибирь» обошло всю декабристскую каторгу и известно было далеко за ее пределами, но «вкус» строки о «гордом терпенье» был до конца понятен только лицейстам – в частности, Пушкину и узнавшему стихотворение значительно позже Кюхельбекеру.

Так Лицей становился в сознании Пушкина идеальным царством дружбы, а лицейские друзья – идеальной аудиторией его поэзии.

Отношения Пушкина с товарищами, как уже говорилось, складывались не просто. Даже самые доброжелательные из них не могли в дальнейшем не упомянуть его глубокой ранимости, легко переходившей в дерзкое и вызывающее поведение. И. И. Пущин вспоминал: «Пуш-

¹⁵ Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., [1934]. С. 286–287.

кин, с самого начала, был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Не то чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных; но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускользают в школьных сношениях. Я, как сосед (с другой стороны его номера была глухая стена), часто, когда все уже засыпали, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня; тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность и это его волновало. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и другое не попадало, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему доставало того, что называется *тактом*...» «Все это вместе было причиной, – заключает Пущин, – что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку...» Пущин был проницательным наблюдателем. Шестилетнее непрерывное общение с Пушкиным-лицеистом позволило ему сделать исключительно точное наблюдение над характером своего друга: «Чтоб полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище»¹⁶.

Нелюбимый ребенок в родной семье, равно и неравномерно развивающийся, Пушкин-юноша, видимо, был глубоко неуверен в себе. Это вызывало браваду, молодечество, стремление первенствовать. Дома его считали увальнем – он начал выше всего ставить физическую ловкость, силу, умение постоять за себя. Тот же Пущин с недоумением, не ослабевшим почти за полвека, отделявшее первую встречу с Пушкиным от времени написания записок, вспоминал, что Пушкин, который значительно опередил по начитанности и знаниям своих одноклассников, менее всего был склонен этим тщеславиться и даже ценить: «Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. В этом даже участвовало его самолюбие – бывали столкновения, очень неловкие»¹⁷. Сам Пушкин свидетельствовал, что «появлению Музы» в его «студенческой келье» предшествовало время,

...как я поэме редкой
Не предпочел бы мячик меткой,
Считал схоластику за вздор
И прыгал в сад через забор¹⁸.
Когда порой бывал прилежен,
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив (VI, 619).

Все мемуаристы единодушны в описании и оценке огромного впечатления, которое произвели на Лицей и лицеистов события 1812 г. Сошлемся снова на Пущина: «Жизнь наша

¹⁶ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 82–83.

¹⁷ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 74.

¹⁸ Речь идет об особом молодечестве. Царь жаловался директору Лицея Энгельгарду: «Твои воспитанники <...> снимают через забор мои наливные яблоки, быют сторожей...» (Там же. С. 91.) То, что яблоки были царские, придавало им особый вкус, а походу – опасность.

лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской: готовилась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы проводили все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея...»¹⁹ Впечатления этих лет, конечно, определили гражданский пафос и раннее свободолобие многих лицеистов, включая и Пушкина. Однако события действовали на молодые умы еще в одном отношении: История со страниц учебников сама явилась на лицейский порог. Для того чтобы обессмертить свое имя и передать его потомкам, уже не нужно было родиться в баснословные времена или принадлежать к семье коронованных особ. Не только «муж судеб», сын мелкого корсиканского дворянина Наполеон Бонапарте, сделавшийся императором Франции и перекраивавший карту Европы, но и любой из молодых гвардейских офицеров, проходивших мимо ворот Лицея, чтобы пасть под Бородино, Лейпцигом или на высотах Монмартра, был «человеком истории». В одном из своих последних стихотворений (на 19 октября 1836 г.) Пушкин писал:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... (III, 432)

Сдержанная стилистика зрелого Пушкина чужда поэтических украшений. «Завидуя тому, кто умирать / Шел мимо нас» – не риторическая фигура, а точное описание психологических переживаний лицеистов. Героическая смерть, переходящая в историческое бессмертие, не казалась страшной – она была прекрасна. Тем сильнее переживалась обида, нанесенная возрастом. Л. Н. Толстой глубоко передал эти переживания словами Пети Ростова в «Войне и мире»: «...все равно я не могу ничему учиться теперь, когда... – Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: – когда отечество в опасности»²⁰.

Поэзия была ответом на все. Она становилась оправданием в собственных глазах и обещанием бессмертия. Именно бессмертия – такова была единственная мерка, которой мерилось достоинство стихов в пушкинском кружке. Пушкину было шестнадцать лет, когда Державин рукоположил его в поэты, а Дельвиг в сентябрьском номере «Российского музеума» за 1815 г. приветствовал его – автора всего лишь нескольких опубликованных стихотворений – стихами:

Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий²¹.

Глубокой привязанности к родителям у Пушкина не было. Однако потребность в такой привязанности, видимо, была исключительно сильна. Это наложило отпечаток на отношения Пушкина с людьми старше его по возрасту. С одной стороны, он в любую минуту был готов взбунтоваться против авторитета, снисходительность или покровительство старших были ему невыносимы. С другой – он тянулся к ним, жаждал их внимания, признание с их стороны было ему необходимо. Он хотел дружбы с ними. Культ Дружбы был неотделим от литературы предромантизма: Шиллер и Карамзин, Руссо и Батюшков создали настоящую «мифологию» дружбы. Однако литературная традиция давала лишь слово, подсказывала формы, в них отли-

¹⁹ Там же. С. 81.

²⁰ Толстой Л. И. Собр. соч.: В 22 т. М., 1980. Т. 6. С. 92.

²¹ Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. С. 191.

вალაწ გუბოკო ლიჩნა პოტრებნოწ კომპენწიროვან თუ ნეხვანკუ დუწევნუწ წვანეწ, კოტორუო ოწუწალ იუწოწა, ნე ლუბივწიწ ვწოწინან თუ წვოემ დეტწვე ი წემე.

Дружеские связи с лицеистами, как мы говорили, завязывались трудно. Тем более заметна тяга Пушкина к людям «взрослого» мира: к дружбе с Чаадаевым и Кавериным, арзамасцами и Карамзиным, Тургеневыми и Ф. Глинкой.

Глядя на дружеские связи Пушкина с возрастной точки зрения, мы отчетливо видим три периода. От Лицея до Одессы включительно друзья Пушкина старше его по возрасту, жизненному опыту, служебному положению. Пушкин сознательно игнорирует эту разницу. Карамзину он говорил: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе» («Кара<мзин> вспыхнул и назвал меня своим клеветником». – XII, 306). М. Орлову, герою войны 1812 г., принявшему ключи Парижа, любимцу императора и кумиру солдат, главе кишиневского общества декабристов, «он отпустил», «разгорячась»: «Вы рассуждаете, генерал, как старая баба» («“Пушкин, вы мне говорите дерзости, берегитесь”, – ответил Орлов»)²². И все же дружеские связи этого периода далеки от равенства. Друзья Пушкина – почти всегда и учителя его. Одни учат его гражданской твердости и стоицизму, как Чаадаев или Ф. Глинка, другие наставляют в политической экономии, как Н. Тургенев, третьи приобщают к тайнам гусарских кутежей, как Каверин или Молоствов, четвертые, как Н. И. Кривцов, «развращают» проповедью материализма. Вопрос о влиянии Пушкина на весь этот круг лиц даже не ставится.

В 1824 г. Пушкин посвятил дружбе четверостишие, окрашенное горечью:

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор (II, 460).

В Михайловском начинается новый период – Пушкина явно влечет к сверстникам. Именно в это время лицейские связи обретают для него новую и особую ценность, укрепляется эпистолярная дружба с Вяземским, который хотя и несколько старше по возрасту, но никак не годится в наставники и не претендует на эту роль. В роли друга-издателя (скитаясь по ссылкам, Пушкин весьма нуждается в услугах по этой части, поскольку сам лишен возможности вести деловые переговоры) маститого наставника Гнедича сменяет приятель Плетнев. Среди политических заговорщиков Пушкина теперь привлекают «молодые»: Рылеев и Бестужев, среди поэтов – сверстники: Дельвиг, Баратынский, Языков.

В тридцатые годы в кругу друзей Пушкина появляются имена молодых, начинающих литераторов: Иван Киреевский, Погодин, Гоголь, который становится ближайшим сотрудником Пушкина, Кольцов и даже Белинский, при всем различии литературных взглядов, бытовых и культурных привычек, попадают в круг интересующих Пушкина лиц. Приятели младшего брата (Нащокин, Соболевский) становятся и его приятелями. Обновление круга друзей станет для Пушкина одной из черт мужественного признания вечного движения жизни.

Среди дружеских привязанностей Пушкина особое место занимал Жуковский. Глубокий и тонкий лирик, открывший тайны поэтического звучания, Жуковский отличался и другой ода-ренностью: это был бесспорно самый добрый человек в русской литературе. Доброта, мягкость, отзывчивость тоже требуют таланта, и Жуковский обладал этим талантом в высшей мере. В годы учения Пушкина в Лицее Жуковский был уже признанным поэтом, и Пушкин свое стихотворное послание к нему (1816) начал с обращения: «Благослови, поэт...» В этих словах было сознание дистанции, отделявшей автора прославленного в 1812 г. патриотического стихотворения «Певец во стане русских воинов» и вызывавших бурные споры романтических баллад от

²² А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. I. С. 351.

вступавшего на поэтический путь новичка. Однако в отношении Жуковского к начинающему поэту не было ни покровительства, столь нетерпимого Пушкиным, ни досаждавшей ему нравоучительности. Жуковский нашел верный тон – тон любящего старшего брата, при котором старшинство не мешает равенству. Это сделало дружбу Пушкина и Жуковского особенно долговечной. Правда, и здесь бывало не все гладко: Жуковский порой сбивался на нравоучение, а в последние месяцы жизни поэта потерял понимание его душевной жизни. Пушкин, в свою очередь, не скрывал творческих расхождений со своим старшим другом, порой подчеркивая их с эпиграмматической остротой. И все же среди наиболее длительных дружеских привязанностей Пушкина имя Жуковского должно быть названо рядом с именами Дельвига и Пушкина.

Дружеские связи лицейского периода – с царскосельскими гусарами, с литераторами-арзамасцами – молодыми писателями, объединявшимися вокруг знамен «нового слога» Карамзина и романтизма Жуковского, – с семьей Карамзина – давали исключительно много для формирования ума и взглядов Пушкина, его общественной и литературной позиции. Но они влияли и на характер. В гусарском кружке Пушкин мог чувствовать себя взрослым, у Карамзина – вдохнуть воздух семьи, домашнего уюта – того, чего сам он никогда не знал у себя дома. В неожиданном и трогательном чувстве влюбленности, которое Пушкин испытывал к Екатерине Андреевне Карамзиной, женщине на девятнадцать лет старше его (более чем вдвое!), вероятно, значительное место занимала потребность именно в материнской любви. Нет оснований видеть в этом чувстве глубокую и утаенную страсть. Ю. Н. Тынянов – автор подробной работы, посвященной «безымянной любви» Пушкина к Карамзиной, – особое значение придает тому, что перед смертью Пушкин захотел видеть именно ее²³. Однако, чтобы правильно осмыслить этот факт, следует назвать имена всех тех, кто вспоминался ему в эти минуты.

Тот, кому приходилось наблюдать людей, умирающих от ран в сознании, знает, с какой неожиданной силой вспыхивают у них воспоминания далекого и, казалось бы, прочно забытого детства. Пушкин не вспомнил недавно скончавшейся матери, не позвал ни отца, ни брата, ни сестры. Он вспомнил Лицей: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пушкина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать». «Карамзина? Тут ли Карамзина?» – спросил Пушкин²⁴. Он возвращался в мир лицейской жизни.

Лицей заменил Пушкину детство. Лицей был закончен – детство прошло. Началась жизнь.

Расставание с детством и вступление во «взрослую» жизнь воспринималось Пушкиным, рвущимся из Лицея, торжественно. Оно рисовалось как рукоположение в рыцарский орден Русской Литературы, клятва паладина, который отныне будет искать случая сразиться за честь своей Дамы. Для юноши, воспринимавшего рыцарскую культуру сквозь призму иронических поэм Вольтера, Ариосто и Тассо, такое «рукоположение» неизбежно выступало в двойном свете: торжественном и даже патетическом, с одной стороны, и пародийно-буффонном – с другой, причем насмешка и пафос не отменяли, а оттеняли друг друга. Пушкин в Лицее был дважды рукоположен в поэты. Первое посвящение произошло 8 января 1815 г. на переводном экзамене. Встреча Пушкина и Державина не имела в реальности того условно-символического (и уж конечно тем более театрального) характера, который невольно ей приписываем мы, глядя назад и зная, что в лицейской зале в этот день встретились величайший русский поэт XVIII в., которому осталось лишь полтора года жизни, и самый великий из русских поэтов вообще. Державин несколько раз до этого уже «передавал» свою лиру молодым поэтам:

Тебе в наследие, Жуковской!

²³ Тынянов Ю. Н. Безыменная любовь // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 217.

²⁴ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 332, 349.

Я ветху лиру отдаю;
А я над бездной гроба скользкой
Уж преклоня чело стою²⁵.

Сам Пушкин описал позже эту встречу, соединяя юмор с лиризмом: «Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: “Где, братец, здесь нужник?” Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига...» «Державин был очень стар. <...> Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно; глаза мутны; губы отвислы» (XII, 158). Строки эти писались почти в то же время, что и портрет старой графини в «Пиковой даме»: «Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами... В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли» (VIII, 240). Совпадение это не случайно: в обоих случаях Пушкин рисует отошедший уже и отживший свое XVIII век, как бы сгустившийся в лице одного человека.

Эпизод встречи уходящего и начинающего поэтов на одном из переводных экзаменов в Лицее вряд ли произвел ошеломляющее впечатление на современников, поглощенных рутинной ежедневных служебных, политических, придворных забот. Только тесный круг друзей, начинавших уже ценить дарование молодого поэта, мог почувствовать его значение. Но для самого Пушкина это было одно из важнейших событий жизни. Он чувствовал себя как паж, получивший посвящение в рыцарский сан: «Наконец вызвали меня. Я прочел мои *Воспоминания в Царском Селе*, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом... —

Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...» (XII, 158).

Вторым посвящением было принятие Пушкина в «Арзамас» – неофициальное литературное общество, объединявшее молодых и задорных литераторов, которые высмеивали на своих, имевших шуточный характер, заседаниях литературных староверов. Члены «Арзамаса» были поклонниками Карамзина; к Державину, в доме которого торжественно собирались литераторы-архаисты, относились иронически. Пушкин был принят в «Арзамас» осенью 1817 г., в момент, когда это общество находилось в состоянии внутреннего разлада. Для Пушкина это принятие имело глубокий смысл: его принадлежность к литературе получила общественное признание. Зачисление в боевую дружину молодых литераторов – романтиков, насмешников, гонителей «века минувшего» – подвело черту под периодом детства и годами учения. Он почувствовал себя допущенным в круг поэтов общепризнанных.

²⁵ Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1933. С. 386.

Глава вторая Петербург. 1817—1820

Лицей стал родным домом. Придут годы, когда Дом сделается для Пушкина символом самых заветных чувств и наиболее высоких ценностей Культуры. Тогда смысл жизненного пути будет рисоваться в образе *возвращения домой*. В день четвертой годовщины событий на Сенатской площади, 14 декабря 1829 г., Пушкина неудержимо потянуло домой – он отправился в Царское Село. В начатом тогда и оставшемся незаконченным стихотворении господствует образ возвращения. Не случайно стихотворение даже названием («Воспоминания в Царском Селе»²⁶) возвращает к знаменательному для поэта лицейскому экзамену:

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
Так отрок библии, [безумный] расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал (III, 189).

В юные годы для Пушкина Дом (Лицей, Петербург) – келья и неволя. Пребывание в нем насильственно, а бегство – желанно. За стенами Дома видится простор и воля. Пока Пушкин в Лицее, простором кажется Петербург, когда он в Петербурге – деревня. Эти представления наложат отпечаток даже на южную ссылку, которая в сознании поэта, неожиданно для нас, иногда будет рисоваться в виде не насильственного изгнания, а добровольного бегства из неволи на волю. А перед читателем и перед самим собой Пушкин предстает в образе Беглеца, добровольного Изгнанника. Иногда этот образ, почерпнутый из арсенала образов европейского романтизма, будет иметь реальное биографическое содержание, и за стихами:

Презрев и голос <?> укоризны,
И зовы сладос<тных> надежд?
Иду в чужбине прах отчизны
С дорожных отряхнуть одежд (II, 349) —

стояли реальные планы «взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь» (XIII, 86). Однако чаще перед нами поэтическое осмысление, трансформирующее реальность. В жизненной прозе – насильственная ссылка на юг, в стихах:

Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отчески края... (II, 147)

В поэзии Лицей – брошенный монастырь, Петербург – блестящая и заманчивая цель бегства. В реальной жизни все иначе: родители поэта переехали в Петербург, и Пушкин возвращается из Лицея домой; интересно, что дом в Коломне «у Покрова», на Фонтанке в доме Клокачева, как и вообще впечатления этой окраины, где, по выражению Гоголя, «всё тишина и

²⁶ Слово «воспоминания» употреблено здесь и в лицейском стихотворении в несколько разных значениях: в 1814 г. поэт говорил об исторических воспоминаниях, которые вызывают памятники Царского Села, в 1829 г. – о личных и исторических.

отставка», отзывавшиеся позже в «Домике в Коломне» и «Медном всаднике», для творчества Пушкина 1817–1820 гг. не существуют; из Лицея Пушкин писал послания сестре – в поэзии петербургского периода ни сестра, ни какие-либо другие «домашние» темы не упоминаются.

В Петербурге Пушкин жил с начала июня 1817 г. (9 июня состоялся выпускной акт Лицея, 11-го того же месяца он уже был в Петербурге) по 6 мая 1820 г., когда он выехал по царскосельской дороге, направляясь в южную ссылку. Планы военной службы, которые Пушкин лелеял в своем воображении, пришлось оставить: отец, опасаясь расходов (служба в гвардии требовала больших трат), настоял на гражданской. Пушкин был зачислен в Коллегию иностранных дел и 13 июня приведен к присяге (в тот же день, что и Кюхельбекер и Грибоедов).

Петербург окружил Пушкина. В широком черном фраке с нескошенными фалдами (такой фрак назывался *à l'américaine*; нарочитая грубость его была верхом щегольской утонченности) и в широкой шляпе *à la bolivar* (поля такой шляпы бывали «так широки, что невозможно было пройти в узкую дверь, не снимая с головы» ее²⁷) он спешит вознаградить себя за вынужденное шестилетнее уединение.

В жизни Пушкина бывали периоды, когда книга составляла для него любимое общество, а уединение и сосредоточенность мысли – лучшее занятие. 1817–1820 гг. резко отличны от этих периодов. И дело здесь не только в том, что неистраченные силы молодого поэта бурно искали себе исхода. В унисон с ними кипела и бурлила молодая Россия. Годы эти имеют в русской истории особую, ни с чем не сравнимую физиономию. Счастливое окончание войн с Наполеоном разбудило в обществе чувство собственной силы. Право на общественную активность казалось достигнутым бесповоротно. Молодые люди полны были жажды деятельности и веры в ее возможность в России. Конфликт на этом пути с правительством и «стариками» уже вырисовывался довольно ясно, но никто еще не верил в его трагический характер. Характерной чертой времени явилось стремление объединить усилия. Даже чтение книги – занятие, традиционно в истории культуры связывавшееся с уединением, – производится сообща. В начале XVIII в. Кантемир писал о чтении:

...запруся
В чулан, для мертвых друзей – живущих лишуся²⁸.

В конце 1810-х – начале 1820-х гг. в России чтение – форма дружеского общения; читают вместе так же, как и думают, спорят, пьют, обсуждают меры правительства или театральные новости. Пушкин, обращаясь к гусару Я. Сабурову, поставил в один ряд

...с Кавериним гулял,
Бранил Россию [с] Молоствовым,
С моим Чедаевым читал (II, 350).

П. П. Каверин – геттингенец, гусар, кутила и дуэлянт, член Союза благоденствия. Он «гулял» (т. е. кутил) не только с Пушкиным, но и «пускал пробку в потолок» с Онегиным в модном ресторане Талон на Невском. П. Х. Молостров – лейб-гусар, оригинал и либерал. Чтение так же требует компаньона, как веселье или беседа. Характер такого чтения прекрасно иллюстрирует рассказ декабриста И. Д. Якушкина. Он познакомился с полковником П. Х. Граббе в 1818 г. Во время их разговора денщик принес Граббе гусарский мундир: долман и ментик – тот собирался ехать представиться Аракчееву. «Разговор попал на древних историков. В это время мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливии, Цицерон, Тацит и другие были у

²⁷ Пыляев М. И. Старое житье: Очерки и рассказы. СПб., 1892. С. 104.

²⁸ Кантемир А. Д. Собр. стихотворений. Л., 1956. С. 59.

каждого из нас почти настольными книгами. Граббе тоже любил древних. На столе у меня лежала книга, из которой я прочел Граббе несколько писем Брута к Цицерону, в которых первый, решившийся действовать против Октавия, упрекает последнего в малодушии. При этом чтении Граббе видимо (т. е. «заметно». — Ю. Л.) воспламенился и сказал своему человеку что он не поедет со двора, и мы с ним обедали вместе; потом он уже никогда не бывал у Аракчева»²⁹.

Стремление к содружеству, сообществу, братскому единению составляет характерную черту поведения и Пушкина этих лет. Энергия, с которой он связывает себя с различными литературными и дружескими кружками, способна вызвать удивление. Следует отметить одну интересную черту: каждый из кружков, привлекающих внимание Пушкина в эти годы, имеет определенное литературно-политическое лицо, в него входят люди, обстрелянные в литературных спорах или покрытые боевыми шрамами; вкусы и взгляды их уже определились, суждения и цели категоричны. Принадлежность к одному кружку, как правило, исключает участие в другом. Пушкин в их кругу выделяется как ищущий среди нашедших. Дело не только в возрасте, а в глубоко свойственном Пушкину на протяжении всей его жизни — пока еще стихийном — уклонении от всякой односторонности: входя в тот или иной круг, он с такой же легкостью, с какой в лицейской лирике усваивал стили русской поэзии, усваивает господствующий стиль кружка, характер поведения и речи его участников. Но чем блистательнее в том или ином из лицейских стихотворений овладение уже сложившимися стилистическими, жанровыми нормами, тем более в нем проявляется собственно пушкинское. Нечто сходное произошло в 1817–1820 гг. в сфере построения поэтом своей личности. С необычной легкостью усваивая «условия игры», принятые в том или ином кружке, включаясь в стиль дружеского общения, предлагаемый тем или иным из собеседников-наставников, Пушкин не растворяется в чужих характерах и нормах. Он ищет *себя*.

Способность Пушкина меняться, переходя от одного круга к другому, и искать общения с совершенно разными людьми не всегда встречала одобрение в кругу декабристов. Даже близкий друг И. И. Пущин писал: «...Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других... <...> Говоришь, бывало: “Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом: ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.”. Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом, смотришь, — Пушкин опять с тогдашними львами!»³⁰

А. Ф. Орлов — брат декабриста, — которому в это время едва перевалило за тридцать, сын екатерининского вельможи, начавший военное поприще под Аустерлицем (золотая сабля «за храбрость»), получивший семь ран на Бородинском поле, в тридцать лет генерал-майор, командир Конногвардейского полка, любимец императора, мог о многом порассказать. А. И. Чернышев, на год моложе Орлова, тоже имел за плечами богатый жизненный опыт: многократные, многочасовые беседы с Наполеоном, прекрасное личное знание всего окружения французского императора делали этого генерал-адъютанта также интересным собеседником. П. Д. Киселев — умный и ловкий честолюбец, быстро делающий карьеру, только что, тридцати одного года от роду, произведенный в генерал-майоры, человек, умевший одновременно быть самым доверенным лицом императора Александра и ближайшим другом Пестеля. Все они, в духе деятелей александровского времени, не чуждались «законно-свободных» идей, все трое сделались потом преуспевающими бюрократами.

²⁹ Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 20.

³⁰ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 98.

Однако именно это свидетельство Пушина позволяет утверждать, что Пушкин был в этом кругу не восхищенным мальчиком, а пытливым наблюдателем. Киселева не смог раскусить даже проницательный Пестель, поверивший в искренность его дружбы и свободомыслия и поплатившийся за это жизнью, а двадцатилетний Пушкин писал о нем в послании А. Ф. Орлову:

На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства³¹ и невежд...
...Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего (II, 85).

В Лицее Пушкин, заочно избранный в «Арзамас» и получивший там условное имя «Сверчка», рвался к реальному участию в деятельности этого общества. Однако, когда это желание осуществилось, чисто литературное направление «Арзамаса» в эпоху возникновения Союза благоденствия стало уже анахронизмом. В феврале – апреле 1817 г. в «Арзамас» вступили Н. Тургенев и М. Орлов, а осенью – Н. Муравьев. Все они были активными членами конспиративных политических групп, все рассматривали литературу не как самостоятельную ценность, а только как средство политической пропаганды. Активизировались к этому времени и политические интересы «старых» арзамасцев: П. А. Вяземского, Д. В. Давыдова. Показательна запись в дневнике Н. И. Тургенева от 29 сентября 1817 г.: «Третьего дня был у нас Арзамас. Нечаянно мы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожить рабство»³². На этом заседании, видимо, присутствовал и Пушкин.

«Арзамас» не был готов к политической активности и распался. Однако, видимо, именно здесь Пушкин сблизился с Николаем Тургеневым и Михаилом Орловым, связи с которыми в этот период решительно оттеснили старые литературные привязанности и дружбы. Карамзин, Жуковский, Батюшков – борцы за изящество языка и за «новый слог», герои литературных сражений с «Беседой» – померкли перед проповедниками свободы и гражданских добродетелей.

Особую роль в жизни Пушкина этих лет сыграл Николай Тургенев. Он был на десять лет старше Пушкина. Унаследовав от отца-масона суровые этические принципы и глубокую религиозность, Н. Тургенев сочетал твердый, склонный к доктринерству и сухости ум с самой экзальтированной, хотя и несколько книжной, любовью к России и русскому народу. Борьба с рабством («хамством», как он выражался на своем специфическом политическом лексиконе) была идеей, которую он пронес через всю жизнь. Если его старший брат, Александр, отличался мягкостью характера и либерализм его выражался главным образом в терпимости, готовности принять чужую точку зрения, то Николай Тургенев был нетерпим, требовал от людей бескомпромиссности, в решениях был резок, в разговорах насмешлив и категоричен. Здесь, в квартире Тургенева, Пушкин был постоянным гостем. Политические воззрения Н. Тургенева в эти годы в основном совпадали с настроениями умеренного крыла Союза благоденствия, в который он вступил во второй половине 1818 г. Освобождения крестьян он надеялся добиться с помощью правительства.

В добрые намерения царя уже не верили. Но члены Союза благоденствия возлагали надежды на давление со стороны передовой общественности, которому Александр I, хочет он

³¹ В беловом автографе определеннее: «тиранов» (II, 561).

³² «Арзамас»: В 2 кн. М., 1994. Кн. 1. С. 436.

этого или нет, вынужден будет уступить. Для этой цели Союз благоденствия считал необходимым создать в России общественное мнение, которым бы руководили политические заговорщики через посредство литературы и публицистики. Литературе, таким образом, отводилась подчиненная роль. Чисто художественные проблемы мало волновали Н. Тургенева. В 1819 г. он писал: «Где русский может почерпнуть нужные для сего правила гражданственности? Наша словесность ограничивается донныне почти одною поэзией. Сочинения в прозе не касаются до предметов политики». И далее: «Поэзия и вообще изящная литература не может наполнить души нашей»³³.

Геттингенец, дипломат и государственный деятель, автор книги по политической экономии, Н. Тургенев смотрел на поэзию несколько свысока, допуская исключение лишь для агитационно-полезной, политической лирики. Эти воззрения он старался внушить и Пушкину. С ним был совершенно согласен и его младший брат, начинающий дипломат Сергей, размышлявший в своем дневнике: «Жуковский писал мне, что, судя по портрету, видит он, что в глазах моих блещают либеральные идеи. Он поэт, но я ему скажу по правде, что пропадет талант его, если не всему либеральному посвятит он его. Только такими стихами можно теперь заслужить бессмертие... Мне опять пишут о Пушкине как о развертывающемся таланте. Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность и вместо оплакиваний самого себя пусть первая его песнь будет: *Свободе*»³⁴. «Оплакивание самого себя» — элегическая поэзия, к которой Тургеневы, как и большинство декабристов, относились сурово.

Влияние Н. И. Тургенева отчетливо сказалось в стихотворении Пушкина «Деревня». Характерно с этой точки зрения и начало оды «Вольность» — демонстративный отказ от любовной поэзии и обращение к вольнолюбивой Музе. Не следует, конечно, понимать это влияние слишком прямолинейно — идея осуждения любовной поэзии и противопоставление ей поэзии политической была почти всеобщей в декабристских и близких к ним кругах. Вяземский, шедший другой, вполне самобытной дорогой, в стихотворении «Негодование» (1820) выразил ту же мысль и в весьма сходных образах:

И я сорвал с чела, наморщенного думой,
Бездушных радостей венок.
<...>
Мой Аполлон — негодование!
При пламени его с свободных уст моих
Падет бесчестное молчанье
И загорится смелый стих.

У Пушкина:

Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок (II, 45).

Оду «Вольность» роднит с идеями Н. Тургенева не только противопоставление любовной и политической поэзии, но весь круг идей, отношение к французской революции и русскому

³³ Русский библиофил. 1914. № 5. С. 17.

³⁴ Тургенев Н. И. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 59.

самодержавию. Ода «Вольность» выражала политические концепции Союза благоденствия, и воззрения Н. И. Тургенева отразились в ней непосредственным образом³⁵.

Н. И. Тургенев был суровым моралистом – не все в пушкинском поведении и пушкинской поэзии его удовлетворяло. Резкие выходки Пушкина против правительства, эпиграммы и легкомысленное отношение к службе (сам Н. Тургенев занимал ответственные должности и в Государственном совете, и в Министерстве финансов и относился к службе весьма серьезно) заставляли его «ругать и усовещать» Пушкина. По словам А. И. Тургенева, он «не раз давал чувствовать» Пушкину, «что нельзя брать ни за что жалованье и ругать того, кто дает его», а осуждение поэта «за его тогдашние эпиграммы и пр. против правительства» однажды, во время разговора на квартире Тургеневых, приняло столь острые формы, что Пушкин вызвал Н. И. Тургенева на дуэль, правда тут же одумался и с извинением взял вызов обратно³⁶.

Николай Тургенев не был единственным связующим звеном между Пушкиным и Союзом благоденствия. Видимо, осенью 1817 г. Пушкин познакомился с Федором Николаевичем Глинкой. Глинка происходил из небогатого, но старого рода смоленских дворян. Небольшого роста, болезненный с детства, он отличался исключительной храбростью на войне (вся его грудь была покрыта русскими и иностранными орденами) и крайним человеколюбием. Даже Сперанский, сам выглядевший на фоне деятелей типа Аракчеева как образец чувствительности, пенял Глинке за неуместную в условиях русской действительности впечатлительность, говоря: «На погосте всех не оплачешь!» Глинка был известным литератором и весьма активным деятелем тайных декабристских организаций на раннем этапе их существования. Сомещающая роль одного из руководителей Союза благоденствия и адъютанта, прикомандированного для особых поручений к Петербургскому военному генерал-губернатору Милорадовичу, Глинка оказал важные услуги тайным обществам, а также сильно способствовал смягчению участи Пушкина в 1820 г.

В 1819 г. Глинка был избран председателем Вольного общества любителей российской словесности в Петербурге, которому предстояло сыграть исключительную роль в сплочении литераторов декабристской ориентации. Пушкин испытал сильное влияние личности Глинки – человека высокой душевной чистоты и твердости. В определенной мере Глинка втягивал Пушкина в легальную деятельность, исподволь руководимую конспиративными обществами. Намечаются и другие точки соприкосновения Пушкина с Союзом благоденствия. Еще в Лицее Пушкин познакомился с Никитой Муравьевым. Когда в 1817 г. знакомство это возобновилось в связи с вступлением Муравьева в «Арзамас», тот уже был одним из организаторов первого тайного общества декабристов – Союза спасения. Видимо, через Никиту Муравьева Пушкин был привлечен к участию в тех заседаниях Союза благоденствия, которые не имели строго конспиративного характера и должны были способствовать распространению влияния общества. Много лет спустя, работая над десятой главой «Евгения Онегина», Пушкин рисовал такое заседание:

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.
<...>
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Им резко Лун<ин> предлагал

³⁵ Существует вполне правдоподобная биографическая легенда, согласно которой ода «Вольность» была начата по предложению Н. И. Тургенева, в его квартире, из окон которой виден Михайловский замок – место гибели Павла I (подробнее см.: Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1. С. 147–148).

³⁶ Памяти декабристов. Л., 1926. Т. II. С. 122.

Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал сво<и> Ноэли Пу<шкин>,
Мела<нхолический> Як<ушкин>,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал (VI, 523—24).

Стихи эти длительное время казались плодом поэтического вымысла: участие Пушкина в заседаниях такого рода представлялось невозможным. Однако в 1952 г. М. В. Нечкина опубликовала показания на следствии декабриста И. Н. Горсткина, который сообщил (надо, конечно, учесть вполне понятное в тактическом отношении стремление Горсткина принизить значение описываемых встреч): «Стали собираться сначала охотно, потом с трудом соберется человек десять, я был раза два-три у к<нзя> Ильи Долгорукого, который был, кажется, один из главных в то время. У него Пушкин читывал свои стихи, все восхищались остроотой, рассказывали всякий вздор, читали, иные шептали, и все тут; общего разговора никогда нигде не бывало <...> бывал я на вечерах у Никиты Муравьева, тут встречал частенько лица, отнюдь не принадлежавшие обществу»³⁷.

Если добавить, что названные в строфе Лунин и Якушкин – видные деятели декабристского движения – также были в эти годы знакомцами Пушкина (с Луниным он познакомился 19 ноября 1818 г. во время проводов уезжавшего в Италию Батюшкова и так близко сошелся, что в 1820 г. перед отъездом Лунина отрезал у него на память прядь волос; с Якушкиным Пушкина познакомил Чаадаев), картина декабристских связей Пушкина делается достаточно ясной. Однако она будет не совсем закончена, если мы не обратимся к еще одной стороне вопроса.

Мы уже говорили о том, что нравственный идеал Союза благоденствия был окрашен в тона героического аскетизма. Истинный гражданин мыслился как суровый герой, отказавшийся ради общего блага от счастья, веселья, дружеских пиров. Проникнутый чувством любви к родине, он не растрчивает своих душевных сил на любовные увлечения. Не только изящно-эротическая поэзия, но и «неземные» любовные элегии Жуковского вызывают у него осуждение: они расслабляют душу гражданина и бесполезны для дела Свободы. Рылеев писал:

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет,
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет³⁸.

В. Ф. Раевский позже, в Кишиневе, уже сидя в Тираспольской крепости, призывал Пушкина:

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь...³⁹

Этика героического самоотречения, противопоставлявшая гражданина поэту, героя – любовнику и Свободу – Счастью, была свойственна широкому кругу свободолюбцев – от Робеспьера до Шиллера. Однако были и другие этические представления: Просвещение

³⁷ Лит. наследство. М., 1952. Т. 58. С. 158–159.

³⁸ Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., [1934]. С. 104.

³⁹ Раевский В. Ф. Стихотворения. Л., 1952. С. 149.

XVIII в. в борьбе с христианским аскетизмом создало иную концепцию Свободы. Свобода не противопоставлялась Счастью, а совпадала с ним. Истинно свободный человек – это человек кипящих страстей, раскрепощенных внутренних сил, имеющий дерзость желать и добиваться желанного, поэт и любовник. Свобода – это жизнь, не умещающаяся ни в какие рамки, бьющая через край, а самоограничение – разновидность духовного рабства. Свободное общество не может быть построено на основе аскетизма, самоотречения отдельной личности. Напротив, именно оно обеспечит личности неслыханную полноту и расцвет.

Пушкин был исключительно глубоко и органично связан с культурой Просвещения XVIII в. В этом отношении из русских писателей его столетия с ним можно сопоставить лишь Герцена. В органическом пушкинском жизнелюбии невозможно отделить черты личного темперамента от теоретической позиции. Показательно, что почти одновременно с одой «Вольность», ясно выражавшей концепцию героического аскетизма, Пушкин написал мадригал Голицыной «Краев чужих неопытный любитель...», в котором даны как равноценные два высоких человеческих идеала:

...гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной

и

...женщина – не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой (II, 43).

Печать Свободы почует на обоих.

Такой взгляд накладывал отпечаток на личное, бытовое поведение поэта. Жить в постоянном напряжении страстей было для Пушкина не уступкой темпераменту, а сознательной и программной жизненной установкой. И если Любовь была как бы знаком этого непрерывного жизненного горения, то Шалость и Лень становились условными обозначениями неподчинения мертвенной дисциплине государственного бюрократизма. Чинному порядку делового Петербурга они противостояли как протест против условных норм приличия и как отказ принимать всерьез весь мир государственных ценностей. Однако одновременно они противостояли и серьезности гражданского пафоса декабристской этики.

Граница между декабристами и близкими к ним либерально-молодежными кругами делила надвое и сферу этики, и область непосредственных жизненно-бытовых привычек, стиль каждодневного существования. Филантроп и бессребреник Федор Глинка покрывался вместо одеяла шинелью, и если надо было выкупить на волю какого-нибудь крепостного артиста, отказывал себе в чае и переходил на кипятки. Его лозунгом была суровая бедность и труд.

Дельвиг и Баратынский тоже были бедны:

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко⁴⁰.

Однако их лозунгом была веселая бедность и лень. Для Дельвига, Баратынского и поэтов их круга веселье было лишь литературной позой: Баратынский, меланхолик в жизни, напи-

⁴⁰ Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., [1934]. С. 429. Стихотворение написано Дельвигом совместно с Баратынским (1819).

сал поэму «Пир», прославлявшую беззаботное веселье. Самоотреченный мечтатель в поэзии, Жуковский в быту был уравновешеннее и веселее, чем гедонист в поэзии и больной неудачник в жизни Батюшков. Пушкин же сделал «поэтическое» поведение нормой для реального. Поэтическая шалость и бытовое «бунтарство» стали обычной чертой его жизненного поведения.

Окружающие Пушкина опекуны и наставники – от Карамзина до Н. Тургенева – не могли понять, что он прокладывает новый и *свой* путь: с их точки зрения, он просто сбивался с пути. Блеск пушкинского таланта ослеплял, и поэты, общественные и культурные деятели старшего поколения считали своим долгом сохранить это дарование для России. Они полагали необходимым направить его по привычному и понятному пути. Непривычное казалось беспутным. Вокруг Пушкина было много доброжелателей и очень мало людей, которые бы его понимали. Пушкин уставал от нравоучений, от того, что его все еще считают мальчиком, и порой всем назло аффектировал мальчишество своего поведения.

Жуковский говорил в «Арзамасе»: «Сверчок, закопавшись / В щелку проказы, оттуда кричит, как в стихах: я ленюсь...» (показательно убеждение, что «в стихах» дозволено то поведение, которое запрещено в жизни)⁴¹. А. И. Тургенев, по собственным словам, ежедневно бранил Пушкина за «леность и нерадение о собственном образовании. К этому присоединились и вкус к площадному волокитству, и вольнодумство, также площадное, 18 столетия»⁴². Батюшков писал А. И. Тургеневу: «Не худо бы его запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою»⁴³.

Что такое «шалости» молодежи пушкинского круга, показывает «Зеленая лампа». Это дружеское литературно-театральное общество возникло весной 1819 г. Собиралась «Зеленая лампа» в доме Никиты Всеволожского. О собраниях в доме Всеволожского в обществе носились туманные сплетни, и сознанию первых биографов Пушкина оно рисовалось в контурах какого-то сборища развратной молодежи, устраивающей оргии. Публикации протоколов и других материалов заседаний заставили решительно отбросить эту версию. Участие в руководстве «Зеленой лампы» таких людей, как Ф. Глинка, С. Трубецкой и Я. Толстой – активных деятелей декабристского движения, – достаточный аргумент, чтобы говорить о серьезном и общественно значимом характере заседаний. Опубликование прочитанных на заседании сочинений и анализ исторических и литературных интересов «Зеленой лампы»⁴⁴ окончательно закрепили представление о связи этой организации с декабристским движением.

Впечатление от этих данных было столь велико, что в исследовательской литературе сложилось представление о «Зеленой лампе» как просто легальном филиале Союза благоденствия (создание подобных филиалов поощрялось уставом Союза). Но такое представление упрощает картину. Бесспорно, «Зеленая лампа» была в поле зрения Союза, который, видимо, стремился распространить на нее свое влияние. Однако ее направление было не вполне однородно с серьезным, проникнутым атмосферой нравственной строгости и гражданского служения Союзом благоденствия. «Зеленая лампа» соединяла свободолобие и серьезные интересы с атмосферой игры, буйного веселья, демонстративного вызова «серьезному» миру. Бунтарство, вольнодумство пронизывают связанные с «Зеленой лампой» стихотворения и письма Пушкина. Однако все они имеют самый озорной характер, решительно чуждый серьезности Союза благоденствия.

Другу по «Лампе» П. Б. Мансурову, уехавшему по службе в аракчеевский Новгород (под Новгородом находились военные поселения), Пушкин писал 27 октября 1819 г.: «Зеленая Лампа нагорела – кажется гаснет – а жаль – масло есть (т. е. шампанское нашего друга).

⁴¹ Отчет имп. Публичной библиотеки за 1884 г. СПб., 1887. С. 162. Паг. 2–8.

⁴² Цит. по: Модзалевский Б. Л. Примечания // Пушкин А. С. Письма. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 191.

⁴³ Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 517.

⁴⁴ См.: Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1. С. 193–234.

Пишешь ли ты, мой брат – напишешь ли мне, мой холосеньской. Поговори мне о себе – о военных поселениях. Это всё мне нужно – потому что я люблю тебя – и ненавижу деспотизм. Прощай, лапочка» и подпись: «Свер<чок> А. Пушкин» (XIII, II). Это сочетание «ненавижу деспотизм» с «холосенькой», «лапочка» (и другие выражения, еще значительно более свободные) характерно для «Зеленой лампы», но решительно чуждо духу декабристского подполья.

Непонимание особенности пушкинской позиции рождало в конспиративных кругах представление о том, что он еще «незрел» и не заслуживает доверия. И если люди, лично знавшие Пушкина и любившие его, смягчали этот приговор утешающими рассуждениями о том, что, будучи вне тайного общества, Пушкин способствует своими стихами делу свободы (Пушин), или ссылкой на необходимость оберегать его талант от опасностей, связанных с непосредственной революционной борьбой (Рылеев-то себя не берег!), то до людей декабристской периферии, лично с Пушкиным не знакомых и питающихся слухами из третьих рук, доходили толки такого рода: «Он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни делает донос тотчас правительству о существовании Тайного общества»⁴⁵. Эти слова вопиющей несправедливости сказал И. И. Горбачевский – декабрист редкой стойкости, честный и мужественный человек. При этом он сослался на такие святые для декабристов авторитеты, как мнение повешенных С. Муравьева-Апостола и М. Бестужева-Рюмина. Михаил Бестужев, чьи пометки покрывают рукопись, вполне с этим согласился.

Союз благоденствия не был достаточно конспиративной организацией в значении, придававшемся этому слову в последующей революционной традиции: о существовании его было широко известно. Характерно, что, когда М. Орлов попросил у генерала Н. И. Раевского руки его дочери, будущий тесть условием брака поставил выход Орлова из тайного общества. Следовательно, Раевский знал не только о существовании общества, но и о том, кто является его членами, и обсуждал этот вопрос так, как перед женитьбой обсуждали вопросы приданого.

Постоянно соприкасаясь с участниками тайного общества, Пушкин, конечно, знал о его существовании и явно стремился войти в его круг. То, что он не получал приглашения и даже наталкивался на вежливый, но твердый отпор со стороны столь близких ему людей, как Пушин, конечно, его безмерно уязвляло. Если мы не будем учитывать того, в какой мере он был задет и травмирован, с одной стороны, назойливыми поучениями наставников, с другой – недоверием друзей, для нас останется загадкой лихорадочная нервозность, напряженность, характерные для душевного состояния Пушкина этих лет. Они выражаются, например, в том, что он в любую минуту ожидает обид и постоянно готов ответить на них вызовом на дуэль. Летом 1817 г. он по ничтожному поводу вызвал на дуэль старика-дядю С. И. Ганнибала, вызывал на поединок Н. Тургенева, однокурсника по лицу М. Корфа, майора Денисовича и, видимо, многих других. Е. А. Карамзина писала брату Вяземскому: «...у г. Пушкина всякий день дуэли; слава Богу, не смертоносные...»⁴⁶ Не все дуэли удавалось уладить, не доводя дела до «поля чести»: осенью 1819 г. Пушкин стрелялся с Кюхельбекером (по вызову последнего), оба выстрелили в воздух (дело кончилось дружеским примирением). Позднее он признавался Ф. Н. Лугинину, что в Петербурге имел серьезную дуэль (есть предположение, что противником его был Рылеев).

В этот период душевной смуты спасительным для Пушкина оказалось сближение с П. Я. Чаадаевым.

Петр Яковлевич Чаадаев, с которым Пушкин познакомился еще лицеистом в доме Карамзина, был одним из замечательнейших людей своего времени. Получивший блестящее домашнее образование, выросший в обстановке культурного аристократического гнезда в доме историка М. М. Щербатова, который приходился ему дедом, Чаадаев шестнадцати лет вступил

⁴⁵ Горбачевский И. И. Записки декабриста. М., 1916. С. 300.

⁴⁶ Цит. по: Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826 / Сост. М. А. Цявловский. Л., 1991. С. 201.

в гвардейский Семеновский полк, с которым проделал путь от Бородина до Парижа. В интересные нас сейчас годы он числился в лейб-гвардии Гусарском полку, был адъютантом командира гвардейского корпуса Васильчикова и квартировал в Демутовом трактире⁴⁷ в Петербурге. «Чаадаев был красив собою, отличался не гусарскими, а какими-то английскими, чуть ли даже не байроновскими манерами и имел блистательный успех в тогдашнем петербургском обществе»⁴⁸.

Чаадаев был членом Союза благоденствия, но не проявлял в нем активности: тактика медленной пропаганды, распространение свободолобивых идей и дела филантропии его, видимо, привлекали мало. Чаадаев охвачен жадной славой – славой огромной, неслыханной, славой, которая навсегда внесет его имя в скрижали истории России и Европы. Пример Наполеона кружил ему голову, а мысль о своем избранничестве, об ожидающем его исключительном жребии не покидала всю жизнь. Его манил путь русского Брута или русского маркиза Позы⁴⁹: не столь уж существенна разница, заколоть ли тирана кинжалом во имя свободы или увлечь его пламенной проповедью за собой; важно другое – впереди должна быть борьба за свободу, героическая гибель и бессмертная слава.

В кабинете Чаадаева:

Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель (II, 189) —

как писал Пушкин в 1821 г. – поэта охватывала атмосфера величия.

Чаадаев учил Пушкина готовиться к великому будущему и уважать в себе человека, имя которого принадлежит потомству. Чаадаев тоже давал Пушкину уроки и требовал от него «в просвещении стать с веком наравне». Однако поучения его ставили Пушкина в положение не школьника, а героя. Они не унижали, а возвышали Пушкина в собственных глазах.

Великое будущее, готовиться к которому Чаадаев призывал Пушкина, лишь отчасти было связано с поэзией: в кабинете Демутова трактира, видимо, речь шла и о том, чтобы повторить в России подвиг Брута и Кассия – ударом меча освободить родину от тирана. Декабрист Якушкин рассказал в своих мемуарах о том, что, когда в 1821 г. в Каменке декабристы, для того чтобы отвести подозрения А. Н. Раевского (сына генерала), разыграли сцену организации тайного общества и тут же обратили все в шутку, Пушкин с горечью воскликнул: «Я уже видел жизнь мою облагороженную и высокую цель перед собой»⁵⁰. «Жизнь, облагороженная высокою целью», «цель великодушная» – за этими словами Пушкина стоит мечта о великом предназначении. Даже гибель – предмет зависти, если она связана с поприщем, на котором человек «принадлежит истории». Беседы с Чаадаевым учили Пушкина видеть и свою жизнь «облагороженной высокою целью». Только обстановкой разговоров о тираноубийстве можно объяснить гордые слова:

И на обломках самовластья
Напишут наши имена! (II, 72)

Почему на обломках русского самодержавия должны написать имена Чаадаева, «двадцатилетнего с небольшим молодого человека, который ничего не написал, ни на каком поприще

⁴⁷ Гостиница на Мойке, близ Невского пр.

⁴⁸ Сербеев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С. 386.

⁴⁹ Брут – политический деятель в Древнем Риме, один из организаторов убийства Цезаря; в литературе XVIII – нач. XIX в. образ героя-республиканца. Маркиз Поза – герой трагедии Шиллера «Дон Карлос», республиканец, пытающийся повлиять на тирана.

⁵⁰ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 366.

ничем себя не отличил», как ядовито писал о нем один из мемуаристов, и Пушкина, ничем еще о себе не заявившего в политической жизни и даже не допущенного в круг русских конспираторов? Странность этих стихов для нас скрадывается тем, что в них мы видим обращение ко всей свободолобивой молодежи, а Пушкина воспринимаем в лучах его последующей славы. Но в 1818–1820 гг. (стихотворение датируется приблизительно) оно может быть понято лишь в свете героических и честолюбивых планов.

Именно в этих планах Пушкин нашел точку опоры в одну из самых горьких минут своей жизни. Многочисленные свидетельства современников подтверждают обаяние Пушкина, его одаренность в дружбе и талантливость в любви. Но он умел возбуждать и ненависть, и у него всегда были враги. В Петербурге 1819–1820 гг. нашлось достаточно людей, добровольно доносивших правительству о стихах, словах и выходках Пушкина. Особенно усердствовал В. Н. Каразин – беспокойный и завистливый человек, одержимый честолюбием. Чужая слава вызывала у него искреннее страдание. Доносы его, доведенные до сведения Александра I, были тем более ядовиты, что Пушкин представлял в них личным оскорбителем царя, а мнительный и злопамятный Александр мог простить самые смелые мысли, но никогда не прощал и не забывал личных обид. 19 апреля 1820 г. Н. М. Карамзин писал Дмитриеву: «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменем Либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч., и проч. Это узнала Полиция etc. Опасаются следствий»⁵¹.

В то время, когда решалась судьба Пушкина и друзья хлопотали за поэта перед императором, по Петербургу поползла гнусная сплетня о том, что поэт был секретно, по приказанию правительства, высечен. Распустил ее известный авантюрист, бретер, картежник Ф. И. Толстой (Американец). Пушкин не знал источника клеветы и был совершенно потрясен, считая себя бесповоротно опозоренным, а жизнь свою – уничтоженной. Не зная, на что решиться – покончить ли с собой или убить императора как косвенного виновника сплетни, – он бросился к Чаадаеву. Здесь он нашел успокоение: Чаадаев доказал ему, что человек, которому предстоит великое поприще, должен презирать клевету и быть выше своих гонителей.

В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой;
Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть,
Умел я презирать, умея ненавидеть (II, 188).

Хлопоты Карамзина, Чаадаева, Ф. Глинки несколько облегчили участь Пушкина: ни Сибирь, ни Соловки не стали местом его ссылки. 6 мая 1820 г. он выехал из Петербурга на юг с назначением в канцелярию генерал-лейтенанта И. Н. Инзова.

⁵¹ Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 286–287.

Глава третья

Юг. 1820—1824

Пушкин направлялся в Екатеринослав, где в это время находилась резиденция начальника иностранных колонистов на юге России И. Н. Инзова, к чьей канцелярии он был причислен (Инзов вскоре был назначен исполнять должность наместника Бессарабии, а затем и Новороссийского края, в его руках сосредоточилась огромная административная власть). Формально Пушкин не был сослан: отъезду был придан характер служебного перевода. Однако начальник Пушкина (Пушкин служил по Министерству иностранных дел), либеральный министр граф И. А. Каподистрия, по требованию императора изложил Инзову в письме все «вины» молодого поэта. Мера эта, однако, возымела обратное действие: Инзов, побочный брат масона и друга Н. И. Новикова Н. Н. Трубецкого, воспитанный в нравственной атмосфере новиковского кружка, соединял истинную храбрость (он участвовал в десятках сражений под командованием Суворова, Милорадовича, Кутузова, уже при Требии и Нови командуя полком, а при Березине и под Лейпцигом – дивизией) с редким человеколюбием (он был специально награжден французским орденом Почетного легиона за гуманное обращение с пленными французами). Спартанец в быту, друг молодости поэта-радищевца И. П. Пнина, он втайне сочувствовал либеральным настроениям молодежи. Письмо Каподистрия оказалось для него лучшей рекомендацией, и он сразу же взял Пушкина под свою опеку.

Маршрут поэта пролегал в стороне от московского тракта – через Лугу, Великие Луки, Витебск, Могилев, Чернигов и Киев. До Царского Села его проводили друзья – Дельвиг и Яковлев. Далее он ехал один, в сопровождении крепостного дядьки Никиты Козлова. Позади была петербургская жизнь – впереди дорога. Начался период скитаний, жизни без постоянного места, без быта. Он продлился до 9 августа 1824 г., когда нога поэта ступила на порог родительского дома в Михайловском.

Дорога, оторвав Пушкина от пестрой полноты петербургской жизни, дала ему возможность осмотреться. Основной итог был таков: 11 июня 1817 г. в Петербург приехал подающий надежды мальчик, 6 мая 1820 г. через царскосельскую заставу выехал поэт, уже заслуживший известность и признание не только в кругу друзей. 15 мая цензор Тимковский подписал разрешение поэмы «Руслан и Людмила» (вышла в свет в конце июля – начале августа). Однако отрывки из нее стали появляться в печати уже с весны 1820 г., и в устном чтении она сделалась известной в кругах петербургских литераторов еще до ссылки поэта. Поэма вызвала разноречивые толки, из которых далеко не все были одобрительными (критические споры вокруг поэмы разгорелись, когда Пушкин уже находился на юге), но одно было безусловно ясно: отныне жизненный путь Пушкина определился однозначно – и в собственных глазах, и в глазах общества отныне он не шалун, пишущий стихи, а Поэт.

Самосознание это наполняло Пушкина чувством уважения к своему поприщу и говорило ему о том, что период ученичества окончен, – теперь уже не мудрые наставники, а он сам должен определять и характер своего творчества, и то, как ему вести себя. Вопрос этот приобретал новый смысл: как должен вести себя Поэт? Пушкин отдавал себе отчет в том, что отныне его человеческий облик, поведение, даже внешность оказываются таинственно, но прочно связанными с его поэзией.

Представление о том, что жизнь поэта, его личность, судьба сливаются с творчеством, составляя для публики некое единое целое, принадлежит времени романтизма. В предшествующие эпохи произведения жили для читателей своей, отдельной от авторов жизнью. В них ценили не отражение авторской индивидуальности, а близость к Истине единой, вечной, «ясной как солнце», по выражению французского философа Декарта. Биография автора воспринималась как нечто постороннее по отношению к творчеству – она не находила отраже-

ния ни в наиболее значимых высоких жанрах (например, в оде), ни даже в элегической поэзии, допускаясь в виде намеков лишь в произведения «низкие», по преимуществу комические. Читатели не искали в жизни поэта ключей к смыслу его стихотворений. Если им и давалась в руки биография писателя (это было возможно лишь по отношению к признанному великим, как правило, уже умершему поэту), то в ней выделялись некие общие иконописные черты, сближающие его с единым идеальным образом. Все, что составляло в человеке индивидуальное, – игнорировалось: биография фактически колебалась между житием и послужным списком.

Сначала предромантизм, а затем и романтизм увидел в поэте прежде всего гения, неповторимый и своеобразный дух которого выражался в оригинальности его творчества. Творчество поэта стало рассматриваться как один огромный автобиографический роман, в котором стихотворения и поэмы образовывали главы, а биография служила сюжетом. Два гения романтической Европы – Байрон и Наполеон – закрепили эти представления. Первый – тем, что, разыграв свою личную жизнь на глазах у всей Европы, превратил поэзию в цепь жгучих автобиографических признаний, второй – показав, что сама жизнь может напоминать романтическую поэму.

В России Жуковский, Д. Давыдов, Рылеев, каждый по-своему, связали свою жизнь сложными нитями со своей поэзией. Это романтическое жизнеощущение, которое тогда было еще не традицией, а витающим в воздухе живым литературным (и, шире, – культурным) переживанием, послужило для Пушкина на новом этапе его художественной жизни точкой опоры. Основываясь на нем, он пошел дальше, создав не только совершенно неповторимое искусство слова, но и совершенно неповторимое искусство жизни.

Романтическое жизнеощущение было в этот момент спасительно для Пушкина потому, что оно обеспечивало ему столь сейчас для него необходимое чувство единства своей личности. Пребывание в Петербурге исключительно обогатило Пушкина: общение с широким кругом передовых современников, участие в дискуссиях ввело его в самый центр интеллектуально-идейной жизни эпохи, напряженная жизнь сердца развила мир его эмоций. Встречи с женщинами и приобщение к очень высокой в ту пору культуре чувств и сердечных переживаний развивали душевную тонкость, способность ощущать, чувствовать, замечать и выражать нюансы чувств, а не только их примитивную гамму. Наконец, вхождение в разнообразные и разностильные коллективы обогатило его чувством стиля поведения. Результатом всего этого была исключительно развившаяся способность гибко перестраивать свою личность, меняться в разных ситуациях, быть разным. Позже Пушкин выделил эту черту в Онегине: «Как он умел казаться новым» (VI, 9).

Такая способность свидетельствовала о гибкости и богатстве души. Однако в ней была скрыта и опасность утраты внутренней ее целостности. Слишком большая многогранность и гибкость грозили потерей собственной ориентации. Романтизм здесь пришелся вовремя. Он не только помог Пушкину стать в поэзии выразителем своего поколения, но и способствовал собственному строительству его личности.

Одним из основных требований романтизма к личности гения была неизменность, подчинение единой страсти, целостность. «Один, – он был везде, холодный, *неизменный...*» (курсив мой. – Ю. Л.), – писал Лермонтов о Наполеоне («Последнее новоселье», 1841), придавая ему типичные черты романтического героя.

Подобно тому как в творчестве Пушкина этого периода стилистическое разнообразие предшествующих лет сменяется единством романтического стиля, личное, собственное поведение поэта заметно ориентируется на некий единый эталон. Этим идеалом, нормой становится романтический герой.

Романтический тип поведения, глядя на него с точки зрения других эпох, часто упрекали в неискренности, отсутствии простоты, видели в нем лишь красивую маску. Конечно, эпоха

романтизма расплодила своих Грушницких – поверхностных и мелких любителей фразы, для которых романтическая мантия была удобным средством скрывать (в первую очередь от себя самих) собственную незначительность и неоригинальность. Но было бы глубочайшей ошибкой забывать при этом, что то же мироощущение и тот же тип отношения со средой мог давать Лермонтова или Байрона. Приравнивать романтизм к его мелкой разменной монете было бы глубоко ошибочным.

Характерной чертой романтического поведения была сознательная ориентация на тот или иной литературный тип. Романтически настроенный молодой человек определял себя именем какого-либо из персонажей расхожей мифологии романтизма: Демона или Вертера, Мельмота или Агасфера, Гяура или Дон-Жуана⁵². Между людьми своего окружения он также соответственным образом распределял роли литературных (или исторических) героев. Полученный таким образом искусственный мир становился двойником бытовой реальности. Более того, для него он был более реальным, чем «пошлая» окружающая действительность. Так он видел и так понимал мир и людей.

Книжность в строе души отнюдь не означала у лучших представителей поколения неискренности или манерности. Напротив, она часто сочеталась с наивностью. Ярким примером может быть пушкинская Татьяна, которая,

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
<...> в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты (VI, 55).

«Себе присвоив / Чужой восторг, чужую грусть», Татьяна и Онегину отводит роль одного из известных ей героев «британской музыки». Книжность этих чувств не мешает им быть и искренними, и глубокими.

Главными чертами романтического героя были одиночество, разочарованность, «равнодушие к жизни и к ее наслаждениям», «преждевременная старость души», которые сделались «отличительными чертами молодежи 19-го века» (XIII, 52), как писал Пушкин В. П. Горчакову. Романтический герой всегда в пути, его мир – это дорога. За спиной у него покинутая родина, ставшая для него тюрьмой. Все связи с родным краем оборваны: в любви он встретил предательство, в дружбе – яд клеветы:

В друзьях обман, в любви разуверенье
И ад во всем, чем сердце дорожит...

(А. А. Дельвиг. *Вдохновение*. 1820)

Но и на чужбине скиталец не останавливается. Всякая остановка для него насильственна. Задерживается ли он на месте оттого, что попадает в плен к диким, но вольнолюбивым жителям экзотических стран, или его привязывает к месту сердечное влечение, тюрьма или счастье

⁵² *Вертер* – герой повести Гёте «Страдания юного Вертера», трагически влюбленный и кончающий самоубийством юноша; *Мельмот* – герой романа английского писателя Метьюрина «Мельмот-скиталец», таинственный злодей, демонический соблазнитель; *Агасфер* (Вечный жид) – персонаж ряда романтических произведений, вечный скиталец, отринутый Богом и людьми; *Гяур* и *Дон-Жуан* – образы романтических бунтарей и скитальцев из поэм Байрона.

для него в равной мере – неволя. Он бежит из тюрьмы или порывает с любовью ради того, чтобы продолжать свои гордые и одинокие скитания.

«Преждевременная старость души» имеет два различных скрытых мотива (часто они совмещаются). Она может быть вызвана мертвящим действием рабства, царящего на родине беглеца. В этом случае сюжет обретает политическую окраску, и попавший в плен к «дикарям» герой лишь меняет один вид рабства на другой:

И ужасен ли обмен?
Дома – цепи! вчуже – плен!

(А. С. Грибоедов. *Хищники на Чегеме*. 1825)

Однако возможен и другой мотив: на далекой родине беглец оставил тайную, неразделенную – порой преступную – любовь. Любовь эта лишена надежды. Беглец вытравил ее из сердца, но сердце его угасло для любви, и он не может ответить на младенчески свежее чувство «дикой девы». Возникает миф о неразделенной, тайной любви.

Такова была, в общих чертах, мифология романтической личности. Как мы увидим, Пушкин был весьма далек от рабского копирования ее схем. Однако он учитывал, что романтизм представляет собой факт общего культурного сознания эпохи и читатель смотрит на него, человека и поэта, именно сквозь такую призму.

Вступая с этими – еще новыми – культурными представлениями в своеобразную игру, Пушкин частично под их влиянием стилизовал собственное поведение, частично же обаянием и авторитетом своей личности влиял на читательское представление о человеческом облике поэта.

В середине мая Пушкин проехал через Киев. Здесь он встретился с рядом петербургских знакомых, в частности с семьей известного генерала, героя 1812 г. Николая Николаевича Раевского. С Раевским Пушкин познакомился, видимо, через Жуковского, а с его сыном, Николаем Николаевичем «младшим», дружески сошелся еще в Петербурге. 17 мая он прибыл в Екатеринослав, место своей новой службы.

Службы, собственно говоря, не было. Инзов встретил его ласково и уже 21 мая послал в Петербург благоприятный отзыв о Пушкине. Вскоре поэт, купаясь в Днепре, серьезно простудился. Больного, его подобрали проезжающие через Екатеринослав по пути на Кавказ Раевские. В письме брату от 24 сентября 1820 г. Пушкин так описал это знаменательное для него путешествие: «Инзов благословил меня на счастливый путь – я лег в коляску больной; через неделю вылез. 2 месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижимыми; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. <...> Видел я берега Кубани и сторожевые станицы – любовался нашими казаками. Вечно верьхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных полей свободных, горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка, с зажженным фитилем. <...> ...Морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды, в *Юрзуф*, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию, которую тебе посылаю; отошли ее Гречу без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополами, виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа. Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства

почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 г.; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери – прелесть, старшая – женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался – счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение – горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского» (XIII, 17–19).

Ночью 19 августа 1820 г. Пушкин с Раевским прибыл на военном бриге «Мингрелия» в Гурзуф. В дороге, на палубе, он написал элегию «Погасло дневное светило...», ознаменовавшую начало нового периода в его поэзии. В Гурзуфе он пробыл до начала сентября, «купался в море и объедался виноградом» (XIII, 251), писал не дошедшее до нас сочинение «Замечания о донских и черноморских казаках», несколько элегий и начал работу над «Кавказским пленником». Здесь он открыл для себя двух новых поэтов – А. Шенье и Байрона, начал систематически изучать английский язык.

В начале сентября Пушкин в обществе Н. Н. Раевского-старшего и Н. Н. Раевского-младшего верхом покинул Гурзуф. Они проехали через Алупку, Симеиз, Севастополь и Бахчисарай, где осматривали ханский дворец, затем направились в Симферополь. В середине сентября Пушкин оставил Крым и через Одессу направился в Кишинев, куда в это время перенес свою резиденцию Инзов.

Короткий отдых, который судьба дала Пушкину, закончился. Кишинев не был спокойным захолустьем – он лежал на перекрестке важнейших политических и военных конфликтов эпохи. Жизнь в Кишиневе ставила трудные вопросы и требовала ответов. Во многом она возвращала Пушкина к проблемам петербургского периода. Но сам поэт уже был другим.

Пушкин пробыл в Кишиневе, с отлучками и отъездами, с 21 сентября 1820 г. по 2 июля 1823 г. Здесь он пережил надежды, связанные с греческим восстанием, и разгром его, вдохнул воздух находящегося «перед битвой» кружка Орлова и был свидетелем уничтожения этого кружка, так и не дождавшегося открытого сражения с самодержавием. Здесь поэт пережил минуты подъема и горьких разочарований.

Пребывание в Крыму, несмотря на всю его краткость (всего несколько недель), сыграло огромную роль в жизни и поэзии Пушкина; к этому времени восходят многие творческие замыслы и впечатления, которые потом разрабатывались и трансформировались в сознании поэта. Но с этим же временем связаны и исключительно важные жизненные впечатления. Образ Крыма вошел в пушкинское представление о счастье. 2 февраля 1830 г. он писал К. А. Собаньской: «Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму» (XIV, 63 и 399).

Пейзажи Кавказа и Крыма одели живой плотью романтические представления. То, что в Европе входило в литературную моду, «ориенталиа» («восточность»), быстро превращаясь в систему литературных штампов, ожило перед глазами поэта как бытовая реальность. Романтизм, казавшийся в Петербурге экзотической сказкой, на Кавказе обернулся правдой и жизнью. Это толкало к тому, чтобы и в себе самом искать черты романтического героя. Романтическое мироощущение позволяло слить душевный мир и окружающий пейзаж в единую, имеющую общий смысл картину.

Однако мир пушкинских настроений этих месяцев отнюдь не был воспроизведением романтических стандартов. Романтический мир трагичен и погружен в самого себя. Таков, например, мир лермонтовских переживаний на Кавказе. Мир Пушкина был иным; Петербург, с его обидами и страстями, оказался на время просто вычеркнутым – не случайно за все это

время Пушкин не написал ни одного письма, в отличие от дошедших в большом числе писем из Кишинева и Одессы. Малый мир сузился до семьи Раевских, большой – расширился до панорамы Кавказа и Крыма.

Семья Раевских переживала один из самых счастливых своих моментов: прославленный, покрытый ранами генерал Раевский, счастливый отец и обаятельный собеседник, был полон сил и энергии, сыновья, чьи имена в раннем детстве прогремели на всю Россию⁵³, готовились к великому будущему. Прелестные, хорошо образованные и умные дочери вносили атмосферу романтической женственности. То, что ждало эту семью в будущем: горечь неудавшейся жизни баловня семьи – старшего сына Александра, героическая и трагическая судьба Марии Николаевны, смерть самого генерала Раевского, не выпустившего до последней минуты из рук портрета уехавшей за мужем-декабристом в Сибирь дочери, – все это и отдаленно не приходило в голову участникам веселой кавалькады. Сейчас здесь господствовала та обстановка семейного счастья и взаимной любви, которой Пушкин, по собственному признанию, «никогда не наслаждался» и которой он так жаждал душевно. Пушкина приняли в этот круг безоговорочно, как своего, как члена семьи и вместе с тем как равного, а не как ребенка: девочки-дочери были моложе его и тоже рвались чувствовать себя взрослыми барышнями, да и в самом генерале было много той детской простоты (ср. характеристику его Батюшковым: «Раевский очень умен и удивительно искренен, даже до ребячества»), которая бывает в действительно умных людях. Маленький мир Раевских как бы воспроизводил в миниатюре утопию жизни людей, все связи которых покоятся на любви и равенстве. А кругом расстился другой мир – воинственный, дикий и свободный, вольный мир горцев и столь же вольный мир пограничных казаков. Этот мир знал постоянную войну, но не знал рабства (если смотреть на него сквозь призму политических идей, усвоенных Пушкиным в Лицее и Петербурге). Малый мир привлекал любовью и счастьем, большой – энергией и дикой свободой. Оба очаровывали.

В этих условиях романтическая поэзия изгнанничества, трагического эгоизма, стремления проклясть все окружающее и затвориться в гордых и гигантских образах, обитающих внутри души, не получала опоры в собственном опыте и личных эмоциях поэта. Это привело к тому, что романтическое сознание и романтический индивидуализм отразились в мироощущении Пушкина в значительно смягченной форме. На их пути возникли, тормозя их движение, глубоко вошедшие в мысль Пушкина идеи XVII в. (главным образом Руссо) о счастливой жизни в соответствии с Природой, о гордой и воинственной свободе, купленной ценой отказа от цивилизации, и о силе чувств простого человека. «Преждевременная старость души» в этом свете казалась уже не участью гения, а болезнью сына больной цивилизации, болезнью, неизвестной детям Природы.

Существующая биографическая литература знает два основных подхода к соотношению Пушкина-поэта и Пушкина-человека. Согласно одному из них, поэт в своем творчестве предельно искренен, и, следовательно, поэзия, раскрывая глубины его личности, является идеальным биографическим источником. Согласно другой – поэт в минуту творчества преображается, становясь как бы другим человеком, и, соответственно, у поэта две биографии: житейская

⁵³ Раевский говорил в 1813 г. своему адъютанту К. Н. Батюшкову в ответ на вопрос: «Помилуйте, ваше высокопревосходительство! не вы ли, взяв за руку детей ваших и зная, пошли на мост, повторяя: вперед, ребята; я и дети мои откроем вам путь ко славе, или что-то тому подобное». Раевский засмеялся. «Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились, я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок, и пуля ему прострелила панталоны); вот и всё тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель (Жуковский) воспел в стихах. Граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином. Et voilà comme on écrit l'histoire!» (*фр.*): «И вот как пишется история!»). *Батюшков К. Н.* Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 413–414.

и поэтическая. «У Пушкина прямо поражает бытие в глаза несоответствие между его жизненными переживаниями и отражениями их в поэзии», – утверждал В. Вересаев⁵⁴.

Современная психология отвергает и то и другое истолкование творческой личности как упрощающие ее природу. Личность поэта, конечно, едина и, бесспорно, связана с широким кругом впечатлений, поступающих из внешнего мира. Однако, будучи включена в различные общественные связи, она говорит с миром на многих языках, и мир отвечает ей различными голосами. В результате один и тот же человек, входя в разные коллективы, меняя целевые установки, может меняться – иногда в очень значительных пределах. Особенно это относится к художнику, чьи реакции на внешний мир отличаются сложностью и разнообразием. Вместо концепций «Поэт – пассивный фотографический аппарат, фиксирующий внешние впечатления» и «Поэт – противоречивая смесь пошлого и великого» возникает представление о творческой личности как сложном сочетании социопсихологических механизмов, обеспечивающих такие реакции, которые характеризуются не только зависимостью от внешних условий, но и свободой, активным преобразованием мира в сознании поэта.

Чем бы ни занимался, что бы ни делал Пушкин в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего Поэт. Именно это он считал основным и определяющим в своей личности, именно так его воспринимали окружающие. Отныне ему приходилось постоянно думать о том, что такое поэт, каким он должен быть в творчестве и жизни, и считаться (или бороться) с тем, что от него ждут его читатели, какие представления связываются в окружающем его обществе с этим понятием. Трудно найти художника, который бы так много думал и столь широко высказывался на тему «Какова сущность поэта, каким должно быть его отношение к миру».

Сознавая себя поэтом, Пушкин тем самым оказывался включенным по крайней мере в три специфические ситуации: 1) Поэт и литература; 2) Поэт и политическая жизнь, в частности для Пушкина – мир антиправительственной конспиративной борьбы; 3) Поэт и каждодневная обыденность, мир ежедневного быта. Конечно, везде он выступает как поэт, и поэт этот – Александр Пушкин – имеет вполне индивидуальное лицо. И все же в каждой из этих ситуаций поэтическое и индивидуальное реализуется каким-то особым, специфическим образом. И лишь из их совокупности возникает подлинное лицо Пушкина в жизни.

Осознавая себя поэтом, Пушкин неизбежно должен был сделаться и литератором, т. е. вступить в специфически литературные связи, попасть в «цех задорный» писателей с их профессиональными интересами и заботами. Письма Пушкина дают обильный материал, характеризующий его участие в литературной жизни. Воспоминания и дневники близких друзей и случайных знакомых показывают нам его в политических спорах за столом у М. Ф. Орлова или на танцах в домах кишиневского «общества». Однако основная жизнь Пушкина, ее самые насыщенные и напряженные часы не отражены в этих документах: они связаны с творчеством и протекали за закрытой дверью.

Пушкин поселился в стоящем на отшибе доме Инзова, в комнате на первом этаже, и остался в ней, даже когда в результате землетрясения дом был полуразрушен и Инзов его покинул. Пушкину нравилось жить в развалинах. Вместе с пустырем и виноградниками, окружавшими дом, это гармонировало с представлением о себе как о «беглеце», живущем в «пустыне», как он называл шумный Кишинев (город был в эти годы сильно перенаселен: будучи, в сущности, небольшим поселением, он был забит чиновниками русской администрации, молдавскими помещиками, потянувшимися в новый административный центр, солдатами и офицерами стоящего в нем штаба дивизии М. Орлова, а с начала греческого восстания – беженцами из Турции и турецкой Молдавии, семьями волонтеров армии Ипсиланти). Пушкин писал: «...

⁵⁴ Вересаев В. В двух планах: Статьи о Пушкине. М., 1929. С. 135.

я один в пустынной для меня Молдавии» (XIII, 19) – «пустынной» она была лишь «для него», т. е. в поэтическом преломлении.

Здесь были написаны «Кавказский пленник», «Гавриилиада», «Братья разбойники», большое число стихотворений (среди них «Черная шаль», «Кинжал», «В. Л. Давыдову», послание «Чаадаеву», «Наполеон», «К Овидию», «Песнь о вещем Олеге»), ряд статей, начаты «Бахчисарайский фонтан» и «Евгений Онегин».

Весь этот большой круг произведений не представлял собой механической суммы разрозненных текстов, а отличался единством. Связующим стержнем служил образ автора. Образ этот, возникая из произведений поэта, сложно переплетался с фактами его жизни, стилизованной в романтическом духе, и, с одной стороны, делаясь достоянием читателей, влиял на то, как они воспринимали новые пушкинские тексты, а с другой – оказывал обратное воздействие на поведение самого автора.

Основной чертой этого образа было «поэт-беглец» или «поэт-изгнанник». В известном смысле «беглец», добровольно покинувший родину, и «изгнанник», принужденный ее оставить насильственно, в этой системе идей выглядели как синонимы. Характерно, что в поэме «Цыганы» даже медведь, которого на цепи водит Алеко, назван «беглец родной берлоги» (IV, 188), хотя он, очевидно, в романтической терминологии должен был бы быть назван узником. Однако между этими двумя идеями-образами было и известное различие, и они по-разному влияли на биографическую реальность и ее трактовку.

Образ поэта-беглеца после «Путешествия Чайльд-Гарольда» Байрона сделался одной из ведущих тем европейского романтизма. Он был удобен, поскольку вписывался в антитезу «неволи душных городов» (IV, 185), замкнутого мира рабства и цивилизации и вольного простора диких степей, безграничной «пустыни мира», по которой странствует романтический герой. Трактовка его как изгнанника и узника влекла за собой прикрепление к определенному месту заточения, превращения из «героя движения» в «героя неподвижности», что противоречило поэтике романтизма. Не случайно, если тема тюрьмы входит в биографию романтического героя, то всегда в связи с мотивом побега или жаждой его.

Образ беглеца связывался с темой разочарования. Оставив на родине сердце и душевную свежесть, герой бежит из ставшего тюрьмой родного дома и не перестает тосковать по нему. Перенося прямо этот общий романтический штамп на свои биографические обстоятельства, Пушкин в элегии «Погасло дневное светило...» преобразил свою ссылку в добровольный побег:

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей.
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья... (II, 146—47)

В первой главе «Евгения Онегина» образ усложнен картиной двойного изгояства: тоскующий и одинокий на одной своей родине, автор обречен на второй – Африке – вздыхать по оставленной им России:

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил (VI, 26).

С этим связано настойчивое подчеркивание в этот период «африканского происхождения со стороны матери», как напоминал Пушкин читателям в примечании в первом издании этой главы (показательно, что в дальнейшем он это примечание заменил глухой ссылкой на первое издание). В письме Дельвигу он пишет о брате Льве: «...чувствую, что мы будем друзьями и братьями не только по африканской нашей крови» (XIII, 26).

Образ ссыльного изгнанника связан был с иными психологическими качествами: здесь требовалась не «преждевременная старость души», а напротив – энергия и готовность к борьбе. Соответственно менялся и тип авторской личности:

Суровый славянин, я слез не проливал (II, 219);

Все тот же я – как был и прежде;
С поклоном не хожу к невежде,
С Орловым спорю, мало пью,
Октавию – в слепой надежде —
Молебнов лести не пою (II, 170).

Большую роль в самоосмыслении Пушкина сыграл в это время образ римского поэта Овидия, сосланного императором Августом в устье Дуная. Отождествление себя с Овидием, а Александра I – с лукавым деспотом Августом, скрывающим мстительность под маской величия, давало Пушкину и жизненную роль, и масштаб для измерения собственной личности. Поэт, которого преследует Власть, оказывается на одном с ней уровне (в 1825 г. Пушкин имел в виду эту мысль, когда писал, что Наполеон *удостоил* Ж. Сталь *гонения*, см. XI, 29; курсив мой. – Ю. Л.). Для Александра I (как позже для Воронцова) Пушкин был ничтожным чиновником, подвергшимся правительственному взысканию. Пушкин предлагал сам себе и читателям другое объяснение: он – Овидий, поэт, сосланный тираном. Далее начиналось противопоставление. Овидий – малодушный и изнеженный певец юга, автор элегий и эротической поэзии – умолял Августа о прощении. «Суровый славянин, я слез не проливал» (II, 219); «Октавию – в слепой надежде – / Молебной лести не пою» (II, 170; Октавий – император Август).

Образы узника, беглеца, изгнанника сконцентрированы в художественных произведениях Пушкина. Но они отделяются от конкретных стихотворений, проникают в письма, посылаемые им на север, видимо, и в разговоры и, обволакивая поэта определенным образным покрывалом, стилизуют его личность и судьбу в глазах современников. Приведем лишь один пример из большого числа возможных. В письме брату от 25 августа 1823 г. Пушкин сообщает о своем переводе в Одессу (известии, как казалось тогда, весьма радостном) и о том, что для решения практических дел по переводу на новое место он должен был съездить еще раз в Кишинев: «...приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе – кажется и хорошо, – да новая печаль мне сжала грудь – мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически – и, выехав оттуда навсегда, – о Кишиневе я вздох-

нул» (XIII, 67). Описание переживаний глубоко искреннее и психологически очень естественное. Но для понимания его нужно учитывать, что выражение «О Кишиневе я вздохнул» – слегка переделанный последний стих из переведенной Жуковским поэмы Байрона «Шильонский узник»:

Когда за двери своей тюрьмы
На волю я перешагнул —
Я о тюрьме своей вздохнул.

Пушкин устал от Кишинева, который после разгрома кружка Орлова – В. Ф. Раевского сделался для него особенно тяжел. Но все же Кишинев был не тюрьма, а Одесса – не освобождение. Однако необходимость увидеть себя сквозь образ романтического героя (в данном случае – знаменитого женецкого узника Бонивара) была столь настоятельной, что он почти все свои переживания описал в одном из писем средствами цитат, вполне понятных адресату:

И слезы новые из глаз
Пошли, и новая печаль
Мне сжала грудь... мне стало жаль
Моих покинутых цепей...

В создаваемый Пушкиным тип поэтической личности существенной частью входил мотив вечной, утаенной, не получившей ответа любви. Позже Пушкин иронически упомянул его в числе обязательных атрибутов романтического мира, назвав «высокопарными мечтаниями»:

В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья... (VI, 200)

Этот обязательный, и в 1840-е гг. уже опошленный, романтический мотив упомянул и Лермонтов:

Толпу ругали все поэты,
Хвалили все семейный круг,
Все в небеса неслись душою,
Взывали с тайною мольбою
К N. N., неведомой красе, —
И страшно надоели все⁵⁵.

⁵⁵ Обязательность этого, быстро опошлившегося, романтического штампа была так велика, что даже дядя Пушкина, В. Л. Пушкин, считал себя вынужденным иметь такую тайную и неразделенную страсть: Люблю... никто того не знает, И тайну милую храню в душе моей. Я знаю то один... хоть сердце изнывает, Хотя и день и ночь тоскую я по ней; Но мило мне мое страданье. И я клялся любить ее без упованья... Сколь неосторожно на основании таких стихов создавать романтически окрашенные биографические построения, свидетельствуют показания современника об авторе этих стихов: «Предметами его песнопений бывали обыкновенно юницы, только-только что выходившие из коротеньких платиц <...> Небольшого роста, толстенький, беззубый, плешивый и вечно прилизывавший скудные остатки волос фиксагуром, он был чрезвычайно слезлив и весьма рано обребачился. Влюблялся он в десятилетних девочек и пресмешно ревновал их. Так рассказывали мне предметы его поклонения, ныне солидных лет дамы и девицы» (Семевский М. К биографии Пушкина // Русский вестник. 1869. Т. 84. Ноябрь. С. 87, 86).

(«Журналист, читатель и писатель». 1840)

В 1821–1823 гг. Пушкин был далек от иронического отношения к этой теме. Более того, он исключительно активно способствовал созданию вокруг своей лирики и личности ореола таинственности и намеков на утаенную страсть. В этом случае он не чужд был иронической игры с читателем, а порой и элементов прямой мистификации.

Тема утаенной любви объединяет цикл лирических стихотворений «крымского» происхождения или колорита и звучит в поэме «Бахчисарайский фонтан». Однако значительно сильнее она проявляется не в самих стихотворениях, а в автокомментариях по их поводу, ориентируя литературные круги тех лет на определенный тип восприятия.

В декабре 1823 г. в Петербурге вышел альманах А. Бестужева и К. Рылеева «Полярная звезда». Бестужев послал его Пушкину. Среди ряда пушкинских стихотворений в альманахе была опубликована элегия «Редет облаков летучая гряда...». Элегия была напечатана полностью, хотя из сердитого письма, которое Пушкин направил Бестужеву тотчас по получении альманаха, видно, что он просил редакторов опустить три последних стиха:

Когда на хижину сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла (II, 157).

Пушкин был очень разгневан. В другом письме Бестужеву он писал: «Бог тебя простит! но ты остранил меня в нынешней Звезде – напечатав 3 последние стиха моей Элегии; чорт дернул меня написать еще к стати о Бахч<исарайском> фонт<ане> какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными – журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя с какой охотою беседую об ней *с одним из п<етер>б<ургских> моих приятелей*⁵⁶. Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгариным – что проклятая Элегия доставлена тебе чорт знает кем – и что никто не виноват. Признаюсь, одною мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась» (XIII, 100–101). Из этой цитаты, как кажется, вытекает, что Пушкин посвятил элегию «Редет облаков летучая гряда...» женщине, в которую был влюблен, что о ней же он говорил в письме, случайно попавшем в руки Булгарина и частично тем опубликованном, что интимные строки он хотел сохранить в тайне. А поскольку имя этой женщины он старательно избегал упоминать, исследователи сделали вывод о том, что элегия – невольное признание поэта, свидетельство утаенной любви.

Внимательное рассмотрение фактов возбуждает, однако, ряд сомнений.

Прежде всего, хотя элегия была доставлена Рылееву и Бестужеву «чорт знает кем», очевидно, распространять ее среди друзей, что в ту пору было равнозначно распространению среди ведущего читательского ядра, мог только сам автор. В его воле было вообще ее утаить. Далее, зная, что Бестужев собирается печатать элегию, Пушкин не запретил ему этого, а лишь наложил вето на последние три стиха. Этим он прежде всего привлекал к ним внимание, давая понять, что они содержат важную для автора тайну (что из самого текста как такового совсем не очевидно). Если считать, что цель Пушкина состояла в сохранении тайны, а не в создании вокруг элегии атмосферы таинственности, то почему автор предлагал не печатать последние три стиха, а не два (стиху «Когда на хижину сходила ночи тень» легко можно было в печатном

⁵⁶ Выделенное Пушкиным курсивом – неточная цитата из заметки Ф. Булгарина «Литературные новости», опубликованной в № 4 «Литературных листков» за 1824 г.

варианте придать синтаксическую законченность)? Если бы Бестужев исполнил требования Пушкина, то стихотворение получило бы в печати вид незаконченного отрывка, интригующе обрывающегося таким образом, что последний стих лишен рифмующейся с ним пары. В сочетании с устным известием о том, что конец не мог быть опубликован из-за его интимности (а это обстоятельство стало бы достоянием определенного круга читателей), такая публикация окружила бы элегию тайной и тесно бы связала ее с биографической легендой.

Но еще больше вопросов возникает дальше: слова о том, что одной мыслью этой женщины Пушкин дорожил больше, чем мнением всей читающей публики, звучат с подкупающей искренностью. Имя ее, естественно, интересовало биографов, поскольку эта, называемая своим именем вечернюю звезду, «дева юная» – наиболее вероятная кандидатура на роль «утаенной любви» Пушкина. Здесь – поскольку в гурзуфской элегии речь могла идти об одной из барышень Раевских или их спутнице – особенно упорно выдвигалась фигура Марии Николаевны Раевской (в замужестве Волконской, известной «декабристки», поехавшей за мужем в Сибирь). Однако после того, как Б. В. Томашевский документально доказал, что «дева юная» – это старшая дочь генерала, Екатерина Раевская (вскоре вышедшая замуж за М. Орлова), оценка слов Пушкина в письме Бестужеву должна перемениться: Пушкин ценил красоту и характер Екатерины Николаевны, но ни о какой серьезной влюбленности в нее с его стороны и речи не шло: брак ее с М. Орловым вызвал у него лишь несколько фривольных шуток (а в 1825 г. в письме Вяземскому он назвал ее «славной бабой» – XIII, 226). Если к этому добавить, что в отрывке письма, опубликованного Булгариным, речь шла совсем не о ней, то остается сделать вывод, что Пушкин мистифицировал Бестужева, а через него наиболее важный для него круг читателей для того, чтобы окружить свою элегическую поэзию романтической легендой, представляя стихи как лирический дневник своего сердца.

Еще более это очевидно относительно «Бахчисарайского фонтана». Пушкин сознательно и целенаправленно вызывал в литературных кругах Петербурга, еще до появления там поэмы, слухи об ее непосредственной связи с чувством автора. 25 августа 1823 г. из Одессы Пушкин писал брату: «Здесь Туманский. Он добрый малой, да иногда врет – напр., он пишет в П<етер> Б<ург> письмо, где говорит между прочим обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и porte-feuille⁵⁷ – любовь и пр... – фраза, достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы⁵⁸ – помогите!» (XIII, 67).

В этом письме многое странно: во-первых, Пушкин мог не сообщать известному болтливостью Туманскому ничего о связи «Бахчисарайского фонтана» со своими личными переживаниями. Во-вторых, из текста видно, что Туманский показал Пушкину написанное им письмо, и во власти последнего было уговорить или даже заставить (Пушкин и по менее важным поводам посылал вызовы на дуэль, а здесь затрагивался весьма щекотливый вопрос) его воздержаться от отправки письма. Пушкин не только этого не сделал, а, напротив, послал брату Льву, еще ничего не слыхавшему о новой поэме, выписку из письма Туманского с просьбой воспрепятствовать распространению данного слуха. Учитывая всем известную невоздержанность Льва Сергеевича на язык, здесь можно видеть лишь желание именно сделать такой взгляд на поэму достоянием литературных кругов.

⁵⁷ Папка для бумаг; портфель (*фр.*).

⁵⁸ П. Шаликов – сентиментальный писатель. Фигура его воспринималась в литературных кругах как комическая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.